



ИМЕНА

№ 19 ОКТЯБРЬ 1975

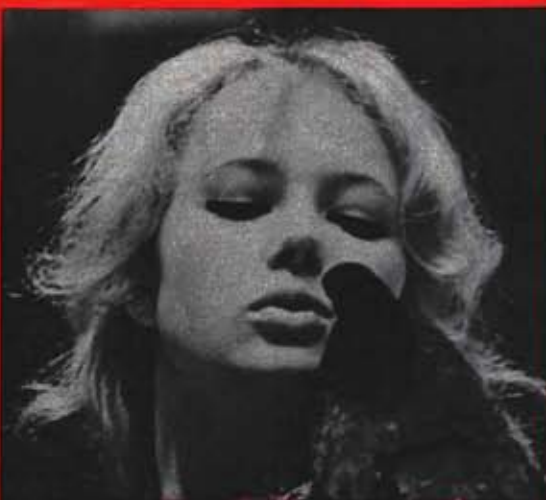
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА



А НУ-КА, ДЕВУШКИ! А НУ, КРАСАВИЦЫ!
ПУСКАЙ ПОЕТ О НАС СТРАНА!
И ЗВОНКОЙ ПЕСНЕЮ ПУСКАЙ ПРОСЛАВЯТСЯ
СРЕДИ ГЕРОЕВ НАШИ ИМЕНА!



Среди рабочих и служащих нашей страны
51 процент — женщины.
Среди колхозников 49 процентов — женщины.
12 миллионов 600 тысяч специалистов с
высшим и средним образованием — женщины.
50 процентов всех научных работников
и студентов высших учебных заведений
страны — женщины.
Около трети депутатов
Верховного Совета СССР — женщины.



Год 1975-й — особый.
Международный год
женщины.

Его девиз — равенство,
развитие, мир.

Благородные идеи года
привлекают миллионы,
сотни миллионов людей.

Участие женщин в соци-
альном, экономическом,
культурном развитии сво-
их стран, их подлинное
равноправие, достойный
вклад в укрепление ми-
ра — вот к чему стремятся
все прогрессивные силы
планеты.

«Социализм, освободив
трудящиеся массы от экс-
плуатации и угнетения,
впервые в истории обес-
печил активное участие
женщин в социально-по-
литической жизни, в раз-
витии производства, науки
и культуры», — говорилось
в приветствии ЦК КПСС
советским женщинам в
связи с Международным
женским днем.

Наши женщины самоот-
верженно трудились в го-
ды предвоенных пятиле-
ток, героически сражались
на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Они за-
мечательно работают се-
годня, активно участвуя в
развернувшемся всена-
родном соревновании за
достойную встречу XXV
съезда КПСС, в строи-
тельстве коммунистиче-
ского общества.

Не отстают от своих ма-
терей, от старших подруг
и девушки. Ткачихи, жи-
вотноводы, студентки,
школьницы. Им будет о
чем рассказать своим под-
ругам, которые съедутся
из многих стран в Моск-
ву на Всемирную встречу
девушек.

Международный год
женщины с особенной си-
лой демонстрирует воз-
растающую роль женщин
в сегодняшнем мире.

ГЕРОИНИ! МАТЕРИ! ПОДРУГИ!

Уроки жизни



Беседуют
Герой Советского Союза
Марина Павловна ЧЕЧНЕВА,
майор запаса, бывший летчик
женского комсомольского
авиационного полка,
и Ирина Ивановна БОНДАРЕВА,
машинистка-завертчица фабрики
имени Бабаева, лауреат премии
Московского комсомола,
делегат XVII съезда ВЛКСМ.



М. ЧЕЧНЕВА. Предмет нашего разговора сегодня, в общем, уже лишен какой бы то ни было проблемности. Место женщины в современном социалистическом обществе настолько прочно, что даже само обсуждение этой темы может быть для нас обидным. Согласны, Ирина Ивановна?

И. БОНДАРЕВА. Пожалуй, да.

М. ЧЕЧНЕВА. Поэтому предлагаю сформулировать темы примерно так: возможности женщины (которые, помоему, неограниченны), ее роль в общественной жизни, труде, защите Родины.

И. БОНДАРЕВА. Да, но только вынесем на первое место все-таки ваш жизненный пример, вашу юность, которые неотделимы от судьбы поколения комсомольцев тридцатых — сороковых годов. Ведь именно тогда, мне кажется, и именно благодаря вам и вашим подругам складывался, креп авторитет женщин не только как тружениц, но и как воинов, бесстрашных защитниц нашей Родины. К тому же символично, что объявленный ООН Международный год женщины пришелся на год, когда все человечество отмечает 30-летие Победы над фашизмом.

М. ЧЕЧНЕВА. Ирина Ивановна или просто Ира, если разрешите...

И. БОНДАРЕВА. Конечно.

М. ЧЕЧНЕВА. Итак, вы хотите, чтобы я рассказала о своей молодости. Хорошо. Но чтобы наша беседа не превратилась в воспоминания Чечневой, вы будете прерывать меня, когда захотите, и в ответ расскажете о

себе и своих подругах. Насколько я представляю, начало вашей рабочей биографии ничуть не менее интересно, чем моей. А о социальной и политической значимости патриотического движения молодежи «За себя и за того парня», инициатором которого вы стали, говорить не приходится. Этим сейчас живут миллионы юношей и девушек. Впрочем, не будем ничего планировать, как получится, так и получится. Я ведь до сих пор не научилась планировать даже семейный бюджет. Но это так, к слову...

И. БОНДАРЕВА. Стало быть, условились: останавливаемся на каждой интересной мысли. Предупреждаю, Марина Павловна, что так и будет, я не из самых терпеливых.

М. ЧЕЧНЕВА. Начнем с того, что вам, Ира, проще: вам не надо было доказывать, что вы способны на то же, на что и мужчины. Нам — надо. Стремительно неслось тогда время, бурной была перестройка устаревших понятий и представлений на новый, социалистический лад. Первые пятилетки, стахановское движение, Днепрогэс. Во всем этом наравне с мужчинами участвовали женщины. И в то же время сознание людей прочно удерживало какие-то давно сложившиеся стереотипы. Например, что война — только мужское дело, а авиация и подавно. Так мне и дали понять, когда я впервые пришла в аэроклуб. Я пыталась возразить: «А Жанна д'Арк!» «Это фигура историческая и не типичная», — сказал мне, улыбаясь, мой будущий учитель Александр Иванович Мартынов, удиви-

тельно добрый человек, как выяснилось позже.

И вдруг, точно гром среди ясного неба, весть о беспримерном перелете трех отважных летчиц — Марины Расковой, Валентины Гризодубовой и Полины Осипенко. Они пролетели без посадки около шести тысяч километров. Тут уже меня ничто не могло остановить. Поборов смущение, пришла к Марине Михайловне домой, на улицу Горького. «Хочу быть летчицей, помогите», — сказала я как можно тверже. Оглядела она меня внимательно, улыбнулась: «Если это для тебя важнее всего в жизни, то я попробую. Если же ты хоть в чем-то сомневаешься, не стоит и начинать». Естественно, я сказала: «Да, важнее». Только потом, узнав Марину Михайловну лучше, поняла ее слова. Раскова обладала удивительными и разнообразными талантами. Она могла бы стать прекрасным музыкантом, химиком, математиком, но выбрала авиацию и отдала ей всю свою жизнь без остатка. По рекомендации Расковой меня приняли в аэроклуб.

И. БОНДАРЕВА. Пример трех отважных женщин, наверное, возбудил интерес к авиации не только у вас?

М. ЧЕЧНЕВА. Безусловно. В аэроклубы страны, которых в те годы, кстати, было несравненно больше, чем сейчас, началось просто девичье паломничество. И объяснялось это не только и не столько массовым желанием летать, сколько тем, что пример Расковой и ее подруг открыл для нас новую, еще не изведанную область применения нашего женско-

го энтузиазма. Для многих тогда это было самоутверждением — в хорошем смысле. Попробовав «небо» на ощупь, они потом увлекались чем-то другим... Но для меня и моих новых друзей — Ольги Шаховой, Аси Ворон, Маши Кузнецовой авиация стала делом жизни.

И. БОНДАРЕВА. Понимаю. В восьмом классе я мечтала моделировать одежду, чуть позже лечить детей, а в результате нашла себя в моей настоящей работе и считаю, что сделала единственно правильный выбор...

М. ЧЕЧНЕВА. Вот в этом все дело — в единственно правильном выборе. Однако я погрешила бы против истины, не сказав, что летным мастерством обязана моим замечательным учителям — мужчинам: начальнику летной части Александру Мартынову, командиру учебного звена Анатолию Масневу, инструктору Михаилу Дужнову. Они помогли материализовать мою мечту. 15 августа 1939 года я первый раз полетела самостоятельно. В тот день мне исполнилось 16 лет, так что дата памятна вдвойне. Правда, по документам считалось, что мне 17, год пришлось прибавить, а то не видать бы мне тогда неба. Еще через год я окончила школу и решила учиться на военного летчика. Но не тут-то было. На всех инстанциях, которые я штурмовала, мне в самой разной форме сказали одно и то же: «Нет». Тогда еще никто не предполагал, что нам, женщинам, придется разделить военную ношу наравне с мужчинами. Я осталась в своей школе старшей пионервожатой.



Наша обложка:
молодые строители

Фото
Николая МАТОРИНА.

- 1** УРОКИ ЖИЗНИ.
Диалог Героя Советского Союза Марины Павловны ЧЕЧНЕВОЙ и работницы фабрики имени Бабаева Ирины Ивановны БОНДАРЕВОЙ.
- 4** К ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧЕ ДЕВУШЕК.
- 6** ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА XXV СЪЕЗДУ КПСС. Репортаж Юрия КОРТНЕВА и Владимира ЧЕЙШВИЛИ.
- 9** Рассказ Риммы КОВАЛЕНКО «КАКОГО ЦВЕТА СЧАСТЬЕ...».
- 12** ГИГАНТЫ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИИ.
Александр ЩЕРБАКОВ. «БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА».
- 14** Стихи Новеллы МАТВЕЕВОЙ.
- 18** ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
Сергей АБРАМОВ. «Вера, Надежда, Любовь».
- 20** К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА.
Юрий ПРОКУШЕВ. «ХОЧУ Я БЫТЬ ПЕВЦОМ И ГРАЖДАНИНОМ».
- 22** Константин ЩЕРБАКОВ. «СЛОВО О ВЕЛИКОМ ИСПЫТАНИИ».
- 24** ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ТРУДЯЩИХСЯ. Ольга ВОРОНОВА. «ОТКРЫВАЙ, ДУША, КРАСОТУ СВОЮ!».
- 26** Василий ШУКШИН. «НЕНАПИСАННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ».
- 28** Братья ВАЙНЕРЫ. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Роман.

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. С. Абашин, А. П. Кулешов, В. В. Луцкий [заместитель главного редактора], В. Г. Победоносцев [ответственный секретарь], Р. И. Рождественский, Е. И. Рябчиков, Г. В. Семенов, А. П. Середа, С. С. Смирнов, А. Б. Стуков [главный художник], Д. Н. Филиппов.

Художник О. С. Теслер.

Технический редактор Л. И. Курлыкова

С. Издательство «Правда». «Смена». 1975 г.

Дни летели с невероятной быстротой: комсомольская работа, семинары, кружки, пять раз в неделю занятия в аэроклубе. Школа у нас была необыкновенная, прежде всего тем, что авиацией и авиамоделизмом там увлекались почти все начиная с пятого класса. Когда началась война, из нашей школы, носящей теперь имя Отто Гротевоя, ушли на фронт и сделались отличными летчиками десятки ребят и девушек, многие из которых стали Героями Советского Союза. Там учился космонавт дважды Герой Советского Союза Владимир Михайлович Комаров, несколько лет работал Алексей Маресьев. В общем, история нашей школы — это в чем-то история советской авиации. Я часто там бываю, приятно и немного грустно пройтись по знакомым коридорам, посидеть на каком-нибудь уроке, вспомнить себя за партой. Экскурсии в детство помогают лучше почувствовать время, своих детей, нашу молодежь...

И. БОНДАРЕВА. Но вы все-таки добились своего и стали военным летчиком.

М. ЧЕЧНЕВА. Стала. Мы сделали военными, потому что тогда это было самое главное, это было нужно — сражаться на фронте и в тылу. И все, что потом мне пришлось пережить, было совсем непохоже на юношеские грезы. Смотришь на пустые нары тех, кто не вернулся с задания, и хочется кричать от боли, а кричать нельзя, мы же солдаты, раз так, значит, крепись и мсти. А нам по 19—20 лет, командиру нашего женского комсомольского полка Евдокии Бершанской — 29, и она для нас уже «старушка». Мы и о жизни-то ничего толком не знали, даже влюбиться ни разу не успели по-настоящему. Это очень трудно — идти в бой, когда у тебя еще ничего не было.

Пишут мне сейчас девушки: как стать летчиком, испытывать самолеты, почему не принимают их в летные училища? Отвечаю, что военная охрана неба в мирное время — мужское дело, а научиться летать можно в аэроклубе. Прекрасный пример — Светлана Савицкая, многократная рекордсменка мира, летчица высшего класса, к тому же очень хороший инженер. Совсем не обязательно быть военным летчиком, чтобы проверить, на что ты способен, кругом множество дел, не менее интересных. Вы найдете в них себя, надо только выбрать свое, самое главное, самое нужное. Восемьсот тысяч советских женщин ушли на фронт не потому, что мечтали об этом, а потому, что была война и мы в равной степени с мужчинами чувствовали ответственность за судьбу Родины.

И. БОНДАРЕВА. Вы сказали о том, что надо уметь выбрать свое дело. Вы выбрали работу военного летчика, тогда как другие женщины пошли на фабрики и заводы, чтобы ковать победу в тылу. Почему вы предпочли фронт? Ведь и тыл не гарантировал безопасности, довольства, комфорта. Я знаю женщин, которые под бомбежками, голодные, падающие от усталости, не выходили из цехов по нескольку суток, чтобы дать фронту больше снарядов. Разве это был не подвиг? Значит, дело в чем-то другом...

М. ЧЕЧНЕВА. Именно. Выбрать — значит почувствовать, оценить, где ты принесешь больше пользы. Умей я хорошо растить хлеб — я растила бы хлеб, умей я хорошо шить — я бы шила, потому что все это было тогда важно — и хлеб и добротные сшитые шинели. Но я умела только летать, поэтому стала пилотом женского авиационного полка ночных бомбардировщиков.

И. БОНДАРЕВА. Но сначала вам пришлось доучиваться?

М. ЧЕЧНЕВА. Да. Из-под Сталинграда, где я была в эвакуации со своим аэроклубом и учила летать муж-

чин, меня отозвали в распоряжение Расковой. Под руководством Марины Михайловны формировалась женская комсомольская авиационная часть. Кстати, толчком к ее формированию были многочисленные письма девушек в ЦК партии и ЦК комсомола, к ней лично. На фронт рвались не только летчицы-спортсменки, но и тысячи девушек самых различных специальностей: инженеры, студентки, работницы фабрик. Позже они стали неплохими вооруженцами, техниками аэродромного обслуживания, штурманами. Ведь наша часть была исключительно женской, ни одного мужчины...

И. БОНДАРЕВА. Все-таки, наверное, непривычно — совсем без мужчин. Сильный пол как-никак, опора, надежда...

М. ЧЕЧНЕВА. Верно, мужчины остаются мужчинами, и надо отдать им должное: большую часть самой опасной работы они брали на себя. Но мы тем не менее не чувствовали неуверенности и воевали ничуть не хуже, чем они. Да, да, не хуже. Долгое время рядом с нами базировался полк ночных бомбардировщиков, который выполнял ту же работу, что и мы. Мы называли мужчин «братиками», они летали на тех же ПО-2 и тоже бомбили передний край врага. Сначала они посматривали на нас свысока, потом вынуждены были изменить мнение. Как-то мы узнали, что мужчины, вылетая на задание, берут по 300 килограммов бомб, мы брали по 200. Тут же на полковом комсомольском собрании решили поднимать в воздух 350—380 килограммов бомб. При мощности двигателя в 150 лошадиных сил это была максимальная загрузка, мы даже не брали с собой парашюты, чтобы загрузить лишних 32 килограмма. Надо сказать, что при такой загрузке работа пилота в воздухе напоминала цирковой номер канатоходца: стоило на мгновение потерять управление машиной, и ПО-2 входил в пики.

Опережали мужчин мы и по числу вылетов. Бывало, что за ночь выполняли несколько бомбежек. Однажды, хорошо помню этот день — 21 декабря 1944 года, наш полк сделал 325 боевых вылетов, а мы со штурманом Катей Рябовой, Героем Советского Союза, впоследствии ученым-математиком, стартовали 18 раз.

И. БОНДАРЕВА. Это не мог быть только энтузиазм, стремление первенствовать. Хотя и приятно сознавать порой свое профессиональное превосходство над мужчинами, что, увы, бывает не часто, вами руководило еще что-то — главное. Что?

М. ЧЕЧНЕВА. Ответственность перед партией, комсомолом, Родиной за дело, которое нам поручили. Это очень сильное чувство — ответственность. Нам доверили каждую ночь бомбить гитлеровский передний край. Нам доверили наш участок войны, наше небо, нам доверили сражаться. Нам — двадцатилетним. Я сейчас говорю не только о летчицах. Вспомните Зою Космодемьянскую, Лизу Чайкину, Любовь Шевцову. Тысячи девушек выполняли опаснейшую работу на фронте и в тылу врага. Мы были лишь частью нашего великого народа. И еще у нас была одна общая ненависть. Мы мстили за поруганную землю, за сожженные города и села, за павших товарищей. Я помню ночь, когда с задания не вернулись восемь наших подруг. Восемь замечательных, отважных девушек. На следующий день мы написали на своих самолетах: «Мстим за Веру и Таню», «Мстим за Любу и Женю». Вооруженцы писали эти же слова на бомбах, которые мы сбрасывали. Любовь к погибшим друзьям давала нам силы так же, как долг перед памятью павших в войне велит вам сейчас, Ира, добиваться высокой производительности труда, работать «за себя и за того парня».

И. БОНДАРЕВА. Я выросла в мирные годы, но это не помешало мне научиться ненавидеть войну, на которой погибли мои родные, фашизм, принесший столько горя, ненавидеть подлость и предательство. Может быть, я ненавижу это не так, как вы, видевшие все своими глазами, но война еще очень долго будет жить в памяти не только моего поколения, но и тех, кто придет после нас. И то, что мы, молодые, встали на трудовую вахту за тех, кто не вернулся с войны, — это активная форма нашей памяти, нашего духовного, исторического единства с теми, кто в трудный час испытаний отстоял нашу Родину.

После того, как в райкоме комсомола я и Игорь Скринник поговорили с ветеранами и пришли каждый с своим коллективом, мы волновались: как встретят наше предложение товарищи? Ведь для того, чтобы трудиться за тех, кто не вернулся с войны, надо быть не просто хорошим специалистом, надо думать так же, как думаю я или Игорь. Наверное, волновались тогда мы зря, но что было, то было. Рассказала девушкам о встрече в райкоме, о комсомольском движении в годы войны «За тех, кто ушел на фронт», о трудовом мужестве женщин и подростков, выполнявших по пять-шесть норм в холодных цехах. Спросила, считают ли комсомольцы цеха, что могут встать на рабочую вахту «за себя и за того парня». Тишина. И вдруг поднимается Валя Перевенцева из моего звена. «У меня вопрос». Я так и сжалась внутри. «Разрешит ли дирекция фабрики работать на двух машинах вместо одной?» Отвечаю, что за этим дело не станет. И тогда все до одного комсомольцы цеха голосуют «за». Все до одного. То же самое было в коллективе, где работает Игорь Скринник, а потом еще в тысячах бригад, в цехах, колхозах, научных коллективах страны.

М. ЧЕЧНЕВА. Вы, Ира, ваши подруги стали инициаторами замечательно, не боюсь сказать, исторического движения советской молодежи. Вы имели на это моральное право, выполнив свое пятилетнее задание раньше других, будучи «молодым гвардейцем» пятилетки, делегатом XVII съезда ВЛКСМ, лауреатом всевозможных трудовых соревнований... С вашими достижениями я знакома. Но это уже следствие. Причина — ваша работа, честная, полная творческих поисков. Это и работа в цехе, и работа общественная, как комсомольского вожака, нравственная работа над собой. И при всем том вы оставались женщиной, в высоком смысле этого слова. И это прекрасно. Так же было и с нами тогда. Если хотите, я расскажу об этом, но сначала ответьте: было вам трудно?

И. БОНДАРЕВА. Было. И довольно часто. Например, когда осваивала работу на двух машинах. Взвывая обязательство трудиться за погибшего на фронте бывшего бабаевца, летчика Виктора Серезникова, я должна была почти удвоить норму выработки. Можно было меньше, но я решила обязательно удвоить. Попробовала — неудачно. Советовалась с опытными мастерами, с инженерами. Наконец, придумала: нужен общий конвейер. Но пока решение зрело, я места себе не находила, ведь как-никак — инициатор. Потом на этот метод перешли все, и дело наладилось.

Вообще преодоление трудностей, по-моему, нормальное состояние человека. Трудно остаться дома и застыть за учебники, когда хочется сходить в театр, трудно бороться со всякого рода пережитками, трудно искать новые прогрессивные методы работы, трудно дается правильное решение сотен вопросов, возникающих на производстве, дома, в комсомольской работе, трудно сделать жизненный выбор. И, наконец, труд-

но быть женщиной, то есть следить за собой, когда каждый день со всех сторон на тебя наваливаются десятки дел... Хотя, если откровенно, я свыклась и со своей занятостью и со своими трудностями, без всего этого, кажется, было бы неинтересно жить. Да разве одна такая! Попробуй отнять у моих подруг все их заботы — и половинки, пожалуй, не отдадут. Помню, как-то одна из наших девушек попросила освободить ее от обязанности редактора стенгазеты, мотивируя это тем, что учится в институте. Освободили, а через неделю она пришла ко мне и говорит: «Не могу без общественной работы, чувствую себя какой-то неполноценной, если можно, поручите газету опять мне...» Челухи я, наверное, наговорила, куда моим трудностям до ваших!

М. ЧЕЧНЕВА. Вы не правы, Ира. У каждого поколения свои трудности, свои проблемы. Вы думаете, нам тогда не хотелось носить вместо гимнастерок модные платья? Хотелось, и еще как. Но попробовал бы кто-нибудь заставить нас отказаться от того, что мы делали! Борьба с врагом была смыслом жизни, все остальное — вторичное. Но даже деля наравне с мужчинами все тяготы войны, мы оставались женщинами. Это было сильнее обстоятельств. Случались и казусы. Как и все войны, мы получали посылки из тыла от незнакомых людей. В посылку вкладывались письма: «Дорогие советские соколы, бейте фашистских гадов еще крепче, мстите за народное горе...» Разворачиваем бумагу — там кисет, табак, мужские перчатки. Мы меняли табак на шоколад и вообще всегда ужасно радовались, когда удавалось разжиться сладким. А одно время просто заболели вышиванием: от командира полка до вооруженцев все перекрашивали нитки, выдернутые из байковых портянок, и вышивали подушки, полотенца, платки.

Были, конечно, и настоящие трудности. Например, как-то четыре месяца сидели на кукурузной похлебке: в ту пору дороги из тыла на передовую были разбиты дождями и вражеской авиацией. И мы, экономя место в самолете, возили из тыла горючее вместо продуктов. Или когда нам надо было летать каждую ночь под Севастополь на задания, а внизу нас ждали десятки гитлеровских прожекторов, зенитки, в воздухе — вражеские истребители, охотившиеся специально за нами. Мы каждую ночь теряли кого-то из боевых подруг и не знали, чья очередь следующая...

И. БОНДАРЕВА. Это другое. Летать в огонь, в смерть — это уже мужество, подвиг...

М. ЧЕЧНЕВА. Подвиг? Возможно. Но так назвали нашу работу уже потом, когда все кончилось. А тогда это было обычным делом. Настолько естественным, что никто из нас никогда не произносил слова, даже близкого к «подвигу». Трудность же была в том, чтобы идти к самолету и не думать о смерти, не думать о том, что тебя ждет через несколько минут, когда ты повиснешь над вражеской передовой и начнешь ее распахивать... Ну, а уж если говорить о подвиге, я расскажу вам один эпизод. Это было в июне 1943 года, в Крыму, неподалеку от сел Греческое и Трудовое. Эскадрилья под командованием Дины Никулиной вылетела на обычное задание. Отблбившись, эскадрилья вернулась на аэродром без командира и ее штурмана Ларисы Радчиковой. Через некоторое время они, обе раненые, истекающие кровью, приземлились в нескольких десятках метров от линии наших передовых окопов.

Случилось вот что. При подходе к цели штурман была ранена осколком. «Держись, цель рядом, надо выполнить задание», — сказала Никулина, скрыв от подруги, что ранена

сама. Спустя еще какое-то время их самолет загорелся. Скольжением Дина сбила пламя и начала бомбежку. Отработав боезапас, девушки повернули обратно. Их опять обстреляли зенитки, самолет вспыхнул во второй раз. Теряя силы, Никулина вновь сбивала пламя. Когда санитары вынесли их из самолета, девушки были без сознания.

Думаю, что их поступок можно назвать подвигом.

И. БОНДАРЕВА. Когда я была немного моложе, то хотела оказаться в каких-нибудь необычных обстоятельствах, чтобы проверить, чего стою и насколько хватит моего мужества. Завидовала тем, кто уходит в далекие и трудные экспедиции, уплывает в бушующий океан, летит в космос. Вместо всего этого мне приходилось каждый день вставать к своей ЕС-1, так называется моя машина, и заворачивать конфеты «Сказка». И так год, два, три... Постепенно я втянулась в ритм, начала испытывать радость от того, что делаю, работа перестала казаться однообразной, больше того, я научилась управлять процессом, подчинила себе машину, представлявшуюся прежде загадочной. У меня появились общественные обязанности, друзья, ученики. Я почувствовала себя необходимой на своем рабочем месте, в цехе, коллективе.

Помню, с каким жаром я и мои товарищи доказывали в дирекции, что цех устарел, что надо оздоровить условия труда работниц, модернизировать оборудование. И когда это было сделано, мы по-настоящему почувствовали себя хозяйками на фабрике, ощутили как бы собственный общественный вес.

Помните, один из ваших наставников в аэроклубе сказал вам: «Жанна д'Арк — фигура историческая и не типичная». Вы знаете, он неправ, вернее, неточен. Жанна была средневековой провозвестницей массового женского героизма. Она повела в бой мужчин против захватчиков, переодетых в мужское платье. Вы могли вершить героические дела, не скрывая того, что вы женщины. Больше того, гордясь этим. Вы вели в бой эскадрилью Жанн д'Арк, Раскова и Бершанская — целые полки. Родина вела в бой сотни тысяч героинь. Сейчас она ведет на трудовой подвиг миллионы советских женщин и девушек. Словом, в нашей стране Жанна была бы типичной фигурой.

Не так давно я провозжала на строительстве Байкало-Амурской магистрали отряд москвичей. Среди них были девушки. Много девушек. Оказалось, что это одна бригада отделочников, которой руководит недавняя выпускница техникума. Она была тут же, невысокого роста, с короткой стрижкой, в элегантных брюках, сшитых из палаточной ткани. Звали ее Надя. Она держалась удивительно спокойно, говорила очень мало, и вообще казалось, что едет не на БАМ, а на дачу к знакомым. Но с каким обожанием смотрели на Надю ее подруги, как быстро и четко делали то, что она просила. Нутром поняла: за такой пойдут в огонь и в воду, через болота, через тайгу, через усталость. И такая выведет.

М. ЧЕЧНЕВА. А вам не хотелось уехать с ними?

И. БОНДАРЕВА. Хотелось! Но как вспомнила, сколько меня ждет дел здесь, в Москве... Ведь на мне ответственность за девчат, за дело, которое мы начали. Движение «За себя и за того парня» давно перестало быть моим или нашим, оно стало общим, делом всей советской молодежи. Но мы первые, с нас особый спрос. Средства, которые мы зарабатывали, вдвое перевыполняя норму, идут на очень нужные дела. У нас на фабрике на них установили обелиск в память о бабаевцах, погибших в Великую Отечественную войну, сейчас собираем деньги на памятник Гастелло.

Молодежные коллективы Москвы перечисляют заработанные деньги в Фонд мира, на строительство памятников героям войны, на другие благородные цели. Мы верим, что наша лепта поможет делу упрочения мира, увековечению памяти павших воинов, памяти ваших подруг, Марина Павловна.

М. ЧЕЧНЕВА. Благодарю вас, Ира. Для нас, ветеранов, особенно дороги ваши заботы. Не менее дорого чувство удовлетворения, которое мы испытываем от общения с молодежью. На мой взгляд, после войны выросло прекрасное поколение, умное, требовательное, ищущее, энергичное. Очень не люблю стариковских разговоров о том, что молодежь пошла не та, что носят не то, танцуют не так, не уважают старших и так далее. Никогда не устану повторять, что длинной юбки нельзя мерить внутренний мир человека, его гражданственность, убежденность. Молодости свойственны увлечения порой несколько безрассудные, это так. Но не в них суть. На моих глазах совсем молоденькие девочки в джинсах так мастерски кляли коровник в подмосковном совхозе, что я невольно любовалась. Прийдет несколько лет, они станут отличными инженерами, умелыми мастерами, руководителями производств, матерями. Так было с нами после войны. Тогда нам казалось, что ничего, кроме как летать, мы не умеем. Но пошли учиться, обзавелись семьями и сумели принести немалую пользу стране как ученые, юристы, врачи, инженеры. Комсорг нашего полка Саша Хорошилова стала профессором, доктором экономических наук, воспитала троих детей. Комиссар эскадрильи Ира Дрягина — ныне доктор сельскохозяйственных наук, бывшая вооруженка полка Полина Огий — Герой Социалистического Труда...

И. БОНДАРЕВА. Марина Павловна, а как сложилась ваша судьба после войны?

М. ЧЕЧНЕВА. Летала, почти двадцать лет. Учила летному мастерству молодежь. Демобилизовалась в звании майора. Когда вернулась на землю, выяснилось, что здесь дел меньше, чем в небе. Включилась в работу Комитета защиты мира, Советского комитета ветеранов войны, Комитета советских женщин, у меня тесная связь с ЦК комсомола, с десятками коллективов, часто езжу по стране, бываю с делегациями за рубежом. Словом, работаю, как могу, и, знаете, тоже считаю себя очень нужным человеком.

И. БОНДАРЕВА. Все-таки приятно сознавать себя нужным человеком. Я понимаю, что между вами и мной большая разница. Но и у меня были и есть свои радости и своя гордость. Вот выучила двух девушек, они остались в моем звене — Валя Перевенцева и Галя Матюнина. А сейчас Валя — ударник коммунистического труда, награждена грамотой «Победителю предмайского соревнования в честь 30-летия Победы», ее фото на фабричной доске почета. Сама стала в состоянии передавать опыт более молодым работницам. Приятно, понимаете?

М. ЧЕЧНЕВА. Понимаю. Хорошее начало, Ира, держите так и дальше. Не в должности дело и не в профессии — в человеке! Не отступитесь от цели, пусть трудной цели, — жизнь будет полной, интересной, нужной. Потеряете цель, худо дело. Ну да вы не потеряете, не такой вы человек... И, наконец, последнее — умейте оставаться женщиной. Кстати, сегодня иду к отличному парикмахеру, просто волшебник, хотя и мужчина. Если хотите, познакомлю.

И. БОНДАРЕВА. С удовольствием. Как раз сегодня собираюсь «заняться собой».

Диалог записал
Владислав ЯНЕЛИС.

МЫ СИЛЬНЫ, ПОТОМ



По инициативе XVII съезда ВЛКСМ в рамках Международного года женщины в Москве состоится Всемирная встреча девушек. Эта широкая, представительная встреча станет ярким событием в борьбе девушек и молодых женщин за свои права, внесет значительный вклад в международное молодежное движение на современном этапе, в борьбу за мир во всем мире.

ТРАМВАЙ ДЛЯ МОСКВЫ

Василий ЖИЛЬЦОВ,
специальный корреспондент «Смены».

Фото Мирослава ГУЦЕКА

Каждое утро спешу я на недалекий наш бульвар, а вернее, на старенькую липовую аллею, отгороженную от уличной суеты невысокими решетками. Тут, на углу тихой улочки и бульвара, именуемого, впрочем, официально даже и не улицей, а валом, моя остановка. Место привычное, и люди изо дня в день одни и те же, но с недавних пор прихожу я сюда, как на свидание. Завидев издали бесшумный красный вагон, начинаю улыбаться и говорю ему тихо, про себя: «Здравствуй, Алена! Как поживаешь, что нового в твоей ясноглазой красавице Праге?»

Людам свойственно одушевлять окружающие предметы, а если они к тому же знают мастера, делавшего их, то невольно обнаруживают в привычной вещи черты характера знакомого им человека. Мой приятель, шивший однажды костюм у портного, славившегося, как выяснилось позже, главным образом своим пристрастием к портвейну, вполне серьезно уверял, что чувствует в нем себя хорошо только за столом, уставленном бутылками.

Но это к слову. Думаю, вам уже понятно, почему я стал называть здоровенные трамвайные вагоны марки «Татра» нежным девичьим именем. Да, так оно и есть: в любом чехословацком трамвае, бегающем по Москве, Ленинграду и многим другим нашим городам (теперь, кажется, он и до Набережных Челнов добрался), есть частичка труда Алены Павликовой — веселой, застенчивой, прилежной, громкоголосой девушки из Праги...

Смихов — известный, уважаемый рабочий район Праги. Такой же, как Выборгская сторона в Ленинграде, Автозаводская в Москве или, скажем, Мотовилиха в Перми. Заводы и фабрики здесь тесно соседствуют друг с другом, и когда ранним утром проходные проглотят людские реки, ручьи и ручейки, улицы пустеют, замирают — не то что на Вацлавской площади или на Виноградах. Только дети играют в сквере у танка, той самой знаменитой «тридцатьчетверки» с бортовым номером 23, что первой ворвалась 9 мая 1945 года в истекавшую кровью Прагу. Экипаж танка погиб в бою, а сам он, вылеченный заботливыми рабочими руками, вознесся на этот постамент, как вечный символ пролетарской солидарности.

«Татра-Смихов» по нынешним понятиям завод небольшой, всего лишь две с чем-то тысячи работников. Не путайте его с известным всему миру гигантом под этим же именем. Тот находится в Копршивнице и выпускает автомобили, а этот, родоначальник великого семейства «Татр», в самой столице Чехословакии и, стиснутый со всех сторон городом, производит теперь только трамваи. Построен он очень давно. Старые, приземистые цеха, говорят, внешне почти не изменились с той далекой поры. Теснота изрядно мешает техническому прогрессу, поэтому в перспективе предполагается и этот завод вывести за пределы Праги.

Мы встретились с Аленой солнечным весенним днем в заводском Доме культуры, непривычно тихом и пустынном. Несколько небольших комнаток в этом здании (очень похожем на наши рабочие дома культуры) занимает клуб молодежи. Здесь все сделано руками молодых рабочих: мебель, украшения, даже стены красили и отделывали деревом сами. Секретарь заводского комитета молодежной организации Ярослав Стржибски деликатно оставил нас одних и тихо позвякивал чашками в соседней комнате, где стоит гордость клуба — роскошная кофеварка, а Алена начала рассказы-



вать о Кубе, где она только что побывала с делегацией Союза социалистической молодежи Чехословакии.

— Очень устала. Отсутствовала две недели, за меня работали другие. Теперь надо наверстывать, — и засмеялась, — впрочем, я к этому уже привыкла.

Пять лет назад, в 1970 году, когда начал создаваться заново Союз социалистической молодежи Чехословакии, слесарь Алена Павликова стала одним из инициаторов возрождения молодежной организации на заводе. Вот так же мягко, без нажима делала она свое важное политическое дело, не обращая внимания на крикунов и болтунов, вовлекала в союз всех, в ком видела родственные себе черты настоящих пролетариев, будущих строителей социалистической Чехословакии. Только она одна и знает, как было ей тогда трудно, но говорить об этом не хочет ни с кем и сейчас. «Я член рабочего класса, а значит, всегда должна быть с ним. Что ж тут особенного?»

И как-то само собой получилось, что избрали Алену в цеховое бюро ССМ, а потом и делегатом на первый съезд союза. А съезд, высоко оценив заслуги Алены перед молодежным движением Чехословакии, единодушно выдвинул ее в состав Центрального Комитета. И вот уже третий год, с октября 1972 года, имеет Алена Павликова две общественные нагрузки: в самом низшем звене молодежной организации — цеховом бюро и самом высшем — ЦК.

— Вы знаете, — сказал мне потом Ярослав Стржибски, — Алена — носитель удивительно высокой нравственности и потрясающей скромности. Пять лет назад в наш клуб молодежи человек 8—10 собиралось. Ну, и Павликова среди них, конечно. Всегда кого-то с собой приводила. А теперь полные комнаты набиваются, повернуться негде. Мы в союз новых членов очень осмотрительно принимаем, главное ведь не количество, а качество. Иной раз, кажется, всем парень или девушка нам подходят, все обсудили, все взвесили, а Алена

поговорит с нашим кандидатом при всех, открыто, и, глядя, действительно поспешит.

На заводе «Татра-Смихов» совсем небольшая организация ССМ — всего 380 членов, в том числе 125 молодых рабочих и 190 учеников, так сказать, кандидатов в рабочие. Но это крепкий, дружный коллектив, имеющий за плечами немало славных дел. Недаром ведь ядро его составляют лучшие из лучших — 46 молодых коммунистов, для которых работа с молодежью — важнейшее партийное поручение.

Одно из интереснейших начинаний заводской молодежи — совет молодых техников, куда вступают все проявляющие интерес к изобретательству и рационализации производства. На республиканской выставке ТТМ смиховцы выступили вполне успешно, их представитель молодой инженер Новак стал лауреатом и получил медаль ЦК ССМ, а заводская организация награждена почетным дипломом.

Несколько месяцев назад заработал на заводе «Прожектор» — ближайший родственник наших «Комсомольских прожекторов», высвечивающих недостатки, бичующих лентяев и бракоделов.

В прошлом году побывала Алена с молодежной организацией в Советском Союзе. Вернувшись, долго ахала по поводу белых ночей в Ленинграде и красоты Московского Кремля, а потом пришла в комитет и выложила на стол блокнот, исписанный сведениями о работе комсомольских «прожектористов» на московских заводах. Когда она их успела собрать, никто не знает, вроде бы всегда со всеми была.

Узнал я про поездку Алены в Москву, спрашиваю:

— На трамвае своем удалось прокатиться?

— А как же, — отвечает, — специально искала, их ведь в центре Москвы нет. Стояла рядом с кабиной водителя, там женщина молодая сидела, симпатичная такая. А поговорить с ней постеснялась, плохо я русским владею. Так хотелось сказать, что этот трамвай для Москвы я тоже делала... А вот теперь москвичи делают вагоны метро для Праги...

Привычными стали слова о социалистической экономической интеграции. Все мы прекрасно знаем о разделении труда между странами, о братском сотрудничестве государств, входящих в Совет Экономической Взаимопомощи, и воспринимаяем как должное, как нечто само собой разумеющееся, как естественную, органичную часть нашего быта кофеварку из Венгрии, люстру или светильник из ГДР, платье из Польши.

Советские станки, работающие в Бухаресте или Гаване, кубинский сахар, железнодорожные вагоны и электрокары из Румынии и Болгарии, трамвай из Чехословакии — все это плоды нашего общего вдохновенного труда. И девушки, недавно принятой в ряды Союза свободной немецкой молодежи, и ленинградца, выпускника производственно-технического училища, самоотверженно работавшего накануне славного тридцатилетия Победы «за того парня», и инженера, выросшего в рядах Дмитровского коммунистического союза молодежи.

Каждый на своем месте и все сообща мы укрепляем экономическую мощь социалистического государства.

Несомненно, каждый, кому попадет на глаза этот рассказ об Алене Павликовой, знаком с итогами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, знает, как высоко оценены результаты исторической встречи в верхах в Хельсинки. Хочу только напомнить, что Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР специально подчеркнули: «Выражая решительную и безоговорочную поддержку внешней и внутренней политике Коммунистической партии Советского Союза, советские люди повышают свою трудовую активность. Новыми успехами в труде они готовятся достойно встретить XXV съезд КПСС».

В реестре чехословацкого экспорта в Советский Союз трамвайные вагоны занимают куда более скромное место, чем, скажем, электровозы, грузовики или обувь. Но все равно они стали привычной частью нашей жизни, приятной и удобной. И мне очень хочется, чтобы все пассажиры красных «татр» знали, что их собирала веселая пражская девушка Алена Павликова, живущая в Смихове, неподалеку от памятника советским солдатам, отдавшим жизнь за счастье и свободу братской Чехословакии.

У ЧТО МЫ ВМЕСТЕ

„СЕРВУС, ИЛДИКО!“

Борис ДАЮШЕВСКИЙ,
специальный корреспондент «Смены»

Фото Тимофея БАЖЕНОВА

Августовский нагретый воздух простирал свои прозрачные полотнища над Будапештом. У гостиницы «Университас» на ветру полоскались разноцветные флаги. Первый Фестиваль дружбы советской и венгерской молодежи отправлялся в недельный путь по гостеприимной Венгрии.

Мы с Андрашем Кери, заведующим отделом рабочей молодежи ЦК ВКСМ, уже полчаса стоим у шеренги ярко-красных «Икарусов», и он знакомит меня с членами делегации, представляющими молодой рабочий класс республики.

— Вот, пожалуй, с кем я хотел бы тебя познакомиться поближе, — показал Андраш на стройную девушку, которая стояла в кольце товарищей. — Илдико Немеш, работница текстильного комбината из Сегеда, член ЦК, настоящий комсомольский жоак.

Не раз слышал я, находясь в Венгрии, что после Будапешта самый красивый город в республике — Сегед. Это город славных революционных традиций, город, в котором воедино слились старинная готическая архитектура с ультрасовременной (выражением последней служит «Одесса — телеп» — «Квартал — Одесса» с красивыми пятиэтажными домами, названный так в честь советского города-побратима), город музыкантов, художников, студентов. В последние же 25 лет он превратился еще и в крупный текстильный центр республики. В 1950 году здесь с помощью СССР было построено первое настоящее промышленное предприятие — текстильный комбинат. На нем и работает контролером качества Илдико Немеш.

Как она стала работницей текстильного комбината, история короткая и простая. Окончив гимназию, семнадцатилетняя девочка села в автобус и отправилась в ближайший от ее родного села Эчед город Сегед. Конечная остановка находилась рядом с корпусами известного всей Венгрии, с иголки оборудованного текстильного комбината. Илдико подошла к воротам, просунула нос между двух железных прутьев, осмотрелась по сторонам, насколько было возможно, и... пошла к проходной.

С того дня и началась для нее рабочая жизнь. Началась-то началась, только привыкнуть к своему новому положению Илдико долго не могла. Целую неделю — то в обеденный перерыв, когда можно спокойно походить по заводскому двору, то поутру, когда цех только наполняется людьми, приглядывалась она ко всему, исподволь подмечая недостатки. Но больше всего не хотелось ей идти после смены в общежитие. Все здесь было не так, как дома, у мамы, все было поначалу чужое и неприветливое. Вот эта первая неделя чуть не стала для Илдико роковой: оказавшись совершенно неподготовленной к самостоятельной жизни, она села в тот же автобус и поехала домой. Мать немало удивилась явлению дочери, а когда выслушала все ее слова и высушила все ее слезы, только и сказала:

— Если сейчас бросишь, потом будешь жалеть. Она вернулась и вот уже пять лет работает на одном месте. В цехе стоит слитный стрекот сотен станков. Ровной лентой сматывается ткань в рулоны, сходя со станка ткачихи, потом совершает незамысловатый маршрут по цеху и оказывается в отделе проверки качества, где работает Илдико и ее бригада. Море различных тканей проходит за смену перед глазами девушек, и им, контролерам качества, надо все время быть внимательными и сосредоточенными. Потому что высокое качество продукции — это то, что создало Сегедскому текстильному комбинату славу не только в Венгрии, но и далеко за ее пределами.

— Первое время уставала так, что утро путала с днем, день с вечером, — рассказывает Илдико. — Хотела все бросить и уехать. И знаете, что меня все время удерживало? Стыд. Да, самый настоящий стыд перед двумя молодыми женщинами. Сначала Мария Часар, а потом Гизи Нодь — она тогда была начальником ОТК цеха и секретарем комсомольской организации комбината — очень тактично учили меня секретам профессии контро-



лера качества. А Гизи еще и в комсомольскую работу стала втягивать.

У всякого человека должен быть, по выражению Гоголя, свой задор. У комсомольского работника такого задора должно быть на двоих. Илдико Немеш как раз тот человек, который в достатке обладает этим богатством. С тех пор, как на последнем съезде венгерского комсомола ее избрали членом Центрального Комитета, Илдико постоянно стала задерживаться по вечерам на работе. Она и до этого всегда была в водовороте больших и малых дел, а теперь забот и подарков прибавилось. Я как-то спросил ее о свободном времени. Она сделала такое лицо, по выражению которого я сразу понял, что его у Илдико нет: ее буйный темперамент «съедает» это самое свободное время напрочь. Помогая новичкам освоить профессию текстильщицы и полюбить комбинат, она буквально за ручку водит каждую по цехам, рассказывает о ветеранах труда, заботится о том, чтобы девушкам было уютно в общежитии. В организацию молодых вечеров вкладывает столько изобретательности и выдумки, будто от этого зависит качество выпускаемой комбинатом продукции. Личные неудачи подруг по общежитию Розы Варга и Эржебет Кошар волнуют Илдико так же, как свои собственные. Но, перебирая в памяти все, что рассказывала мне Илдико, я прихожу к простой и очевидной истине: счастлив тот, кто не только хорошо делает свое дело, но еще живет постоянной и страстной заинтересованностью в судьбе других, тот, кто наделен ярким общественным темпераментом. Как раз таким, как у Илдико Немеш.

За два дня до отъезда в Будапешт Илдико предупредили, что она обязательно должна быть на заседании комитета комсомола комбината. В повестке дня стоял важный вопрос: итоги работы комсомольской организации (650 человек!) в первом полугодии 1975 года. Секретарь комитета Шандор Понкер сделал обстоятельный доклад, назвал лучших по цехам, отделам, бригадам. Комсорги отчитались о проделанной работе, и все шло как нельзя лучше. Страсти разгорелись, когда этого никто не ждал. А именно, когда Шандор объявил, что для награждения лучших молодых рабочих — членов ВКСМ имеется 5 наград, а предложено 10 кандидатур.

Собственно, эти пятеро были уже названы, и кто-то из членов бюро предложил голосовать за них списком. В этот момент Илдико резко поднялась со своего места. «Считаю, что подобный подход будет формальным, — заявила она, — если мы не обсудим персонально всех десятих».

За столом зашумели, стали возражать, кто-то пробурчал, что «и так заседаем уже два часа», но Илдико стояла на своем. Она назвала чью-то фамилию из первоначального списка и, волнуясь, предложила вообще исключить ее, потому что

нельзя награждать комсомолку, которая выделяется только хорошей работой, а в комсомольских делах от нее пользы — ноль.

— Я считаю предложение Илдико справедливым, — подвел итог спорам Шандор Понкер, — давайте еще немного задержимся, но награды должны получить действительно лучшие.

Об этом факте можно было бы и не рассказывать, пусть Илдико предстанет перед читателем доброй, отзывчивой, непринужденной, открытой, веселой, собственно, такой, какая она в жизни. Но есть у нее еще и другие качества, проявившиеся на том заседании, — принципиальность, ответственность перед людьми, высокая степень сознательности. Без этих качеств нельзя быть хорошим комсомольским работником.

На три дня Фестиваль переместился на берега Балатона, в курортный городок Кестхей, где проходила научно-практическая конференция. Утром — заседания, жаркие споры, днем — освежающая прохлада великолепного «Венгерского моря». После конференции, на которой Илдико выступила с докладом «Борьба ВКСМ за равноправное участие молодых работниц во всех областях общественной жизни», идем к озеру. По дороге, чувствуя, что она все еще во власти дискуссии, спрашиваю, что она думает о проблеме самостоятельности молодежи, о которой так много сейчас пишет венгерская молодежная печать. Вопрос этот, видимо, давно занимал Илдико.

— Знаете, мне, как члену бюро, ответственному за идеологическую работу на комбинате, часто приходится вести политические беседы с молодежью, и я хорошо чувствую, чем живут сегодня мои сверстники. Вот иногда от старших можно слышать: вы, мол, неразумные дети, которых надо все время воспитывать, вы эгоистичны и больше, чем следует, думаете о собственном благополучии. Поверьте, это не так. Во-первых, нельзя судить о молодежи в целом, опираясь на пример отдельных субъектов, тянущихся к «красивой» жизни. А во-вторых, кто, как не молодежь, возвел Ленинварш и Уранварш под Печем, оросил и дал жизнь сотням тысяч холмов земли по всей республике, прокладывает новые линии будапештского метро... На средства, заработанные на субботниках молодыми рабочими только нашего комбината, во Вьетнаме строятся современное ПТУ и детский сад. Разве это не доказательство того, что мы готовы отдать себя полностью борьбе за лучшее будущее своей страны и наших зарубежных братьев по классу?

Я представляю, как она, вернувшись из Будапешта в родной Сегед, придет на комбинат, переоденется в синий коротенький халатик, подойдет привычно к браковочному столу, сядет на высокий крутящийся стульчик и вся враз изменится, станет другой, как только поплывет перед ее глазами красивая узорчатая ткань. Чуткие пальцы Илдико будут бесшумно скользить по поверхности ткани, сосредоточенно выискивая брак, и с этой сосредоточенностью она не расстанется до конца смены. Ни сегодня, ни завтра. Потому что ее бригада социалистического труда так же, как и все молодежные бригады республики, включилась в соревнование за достойную встречу 9-го съезда венгерского комсомола, который состоится в мае будущего года. Как и в прошлые годы, 25 молодых девушек и их бригадир Илдико Немеш хотят быть лучшими в этом соревновании и доказать, что не случайно носят медаль «Золотой венчик», которой награждаются самые передовые рабочие коллективы Венгрии.

Илдико пошел двадцать пятый год. Много это или мало? Если говорить о возрасте, то только начало становления. Если говорить о том, что успела уже сделать, то ей могут позавидовать и люди постарше. Но есть и у нее пока неосуществленные планы: она мечтает еще раз, как в 1971 году, поехать в Советский Союз — тогда сумела побывать только в Москве и Смоленске, а теперь обязательно должна познакомиться с Ленинградом и Одессой. Близка она к осуществлению и другой своей мечты — поступает в текстильный институт. Она станет неплохим инженером или конструктором, я знаю, потому что обладает и широтой кругозора и размахом творческой мысли. И все равно, мне кажется, куда ей уже не уйти от того, что стало ее вторым призванием, — работы с людьми.

Пятилетке — победный финиш! XXV съезду КПСС — достойную встречу!

ПОД ФЛАГОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ: ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА XXV СЪЕЗДУ КПСС

Наш завод первым в республике, 1 июля 1975 года, выполнил плановое задание девятой пятилетки.

Наверное, в этом успехе есть и доля труда нашего комсомольско-молодежного коллектива, признанного лучшим в отрасли.

Мы работаем на один наряд, у нас существует так называемая бригадная ответственность. Новичок, попавший к нам, не сразу входит в ритм работы, но все мы помогаем ему овладеть специальностью, учим всем «хитростям» точной, качественной и быстрой сборки узлов. Теперь все члены бригады освоили все смежные специальности и в любой момент могут заменить товарища. Дружба, взаимопонимание, всесторонняя помощь — вот основные принципы нашей работы. Почти все члены бригады — рационализаторы. В результате предложений и мероприятий по совершенствованию технологии и организации производства производительность труда бригады только в этом году возросла сверх плана на 2,2 процента. В среднем мы выполняем норму выработки на 159 процентов ежемесячно и сдаем всю продукцию с первого предъявления.

Сейчас мы боремся за право именоваться бригадой имени XXV съезда КПСС и подписать рапорт Ленинского комсомола партийному форуму. В день молодого рабочего мы надеемся установить свой рекорд производительности труда, который стал бы ориентиром в предстоящей пятилетке. Недавно на собрании бригады мы взяли обязательство закончить десятую пятилетку — пятилетку качества — в 4,5 года. Мы надеемся, что нас поддержат рабочие коллегивы, тесно связанные с нами в производстве, так как от их работы зависит и наше выполнение плановых заданий. Если они нас не подведут, то мы сможем свои обязательства значительно перекрыть.

Анатолий ДУДНИКОВ,
бригадир комсомольско-молодежной бригады
Вильнюсского завода топливной аппаратуры
имени 50-летия СССР.

ПЕРЕКЛИЧКА РАБОЧИХ БРИГАД.

АДРЕС: ЛИТОВСКАЯ ССР. ОТРАСЛЬ: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ТРАКТОРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ.



День молодого рабочего

КАЧЕСТВО — ЗНАЧИТ,

Плавное в нашем деле — на старте напружиниться! — объяснял мне специфику своей работы Толя Дудников. — На нашем участке в принципе завод кончается.

— Конец завода в отделе сбыта, — поддел бригадира заместитель секретаря комитета комсомола завода Коля Воеводин.

— Слева большие партии, справа большие насосы, — отворачиваясь от Воеводина, показал на конвейер Дудников. По обе стороны цеха, образуя широкий коридор, двигались две бесконечные стальные ленты.

— Большая партия — это же сколько насосов в смену?

— Четыреста.

Выходило, грубо говоря, пятьдесят насосов в час, один в минуту.

— Если ритмично... — начал было Коля Воеводин, посмотрел на Дудникова и сказал: — Здесь у нас работает комсомольско-молодежная бригада известного Марьяна Гольниса, которого Толя наконец-то обогнал. Но у Гольниса характер спринтера: чужую спину перед собой видеть не может. Впрочем, они оба питомцы Тарасова.

— Гена Тарасов — наш секретарь, такой пружинистый человек, — без задержки произнес Толя.

Все у него на пружине! Тут я не вытерпел и высказал Дудникову то, что думал по поводу его собственного тяготения к напружиниванию. Толя не расстроился от моего укола, напротив, оживился и в две минуты утряс все возникшие от неправильно понятого мною слова недоразумения. Оказалось, пружина — деталь насоса и «мороки с ней (по Дудникову) до шута, потому что она проходит на участке самую длинную и нервотрепную операцию и больно много ее нужно». Однако и в истории организации бригады пружина «сыграла свою известную роль».

Конечно, сама по себе пружина никакой истории не сотворит, не тот фактор. Проблема возникла в связи с обработкой пружины, следовательно, с технологией. А вот здесь уже привлекаются люди, зарождаются связи, возникает сама общественная диалектика.

Итак, комсомольско-молодежная бригада Толи Дудникова называется бригадой узловой сборки насосов «НД 21/2-4-6». В общезаводской технологической цепочке она стоит непосредственно перед конвейером, и это на нее в первую голову обрушивается суммарный результат работы всех занятых на заводе людей.

Да, конвейер стоит за ними, и никто не утверждает, что там все легко. Однако там уже сгруппированные, составленные до возможного по технологии предела узлы, идущие вдобавок только с одного соседнего участка. А сюда, в бригаду, сходятся все слагающие цепь звенья из всех вспомогательных цехов. Бегут (в идеале) всю смену по звеньям детали, детали, детали... Можете представить двадцать тысяч деталей!

Действительно, столько. Пятьдесят деталей на изделие. Множим на четыреста. И получаем в произведении ровно двадцать тысяч деталей. Они различны по форме, весу, размерам, характеру. От шпонки до вала регулятора и вильчатого рычага.

— Раскладывайте сами, — говорит Толя, — если нас в бригаде по списку двадцать человек.

Раскладка элементарная. Выходит, когда все на месте, по тысяче деталей на брата. Две (с хвостиком) детали в минуту. Их надо взять, осмотреть, проверить, состыковать, как положено по чертежу, соединить и скрепить при помощи ручного инструмента или механизма, убедиться, что блок полностью соответствует стандарту, и пустить его по потоку дальше, к соседу, в общий замысловатый узел, один из тех, которые, начиная коробку корпуса, образуют способное уже пульсировать сердце двигателя внутреннего сгорания.

БРИГАДИР ШУТИТ, ЗНАЧИТ, ВСЕ ИДЕТ КАК НАДО. ЗНАЧИТ, И У ДЕВЧАТ НАСТРОЕНИЕ ХОРОШЕЕ.

— А теперь представьте себе, что получается, если график поступлений необходимого материала, то есть график комплектации, трещит по всем швам, — деликатно подсказывает Толя Дудников.

Представляю. Нагрузка на человека постепенно возрастает в два, три и более раз. А он уже устал, отработав полсмены. Потом здесь выведен расчет на круг, в среднем. Но иные детали задерживаются на операциях по пять — десять минут, если в них много сопряжений или имеется регулировка от руки, и такая задержка тоже, само собой, компенсируется соседом. Какими, выходит, слаженными должны быть в бригаде руки!

Я читаю справку. В ней пункт: «Все сто процентов продукции бригада сдает с первого предъявления». Иными словами, о слаженности и о добросовестности можно больше не говорить.

— Мы по солнышку живем. Чем оно больше в наши окна заворачивает, тем активнее начинают поступать к нам детали из других цехов. Какая-то странная получается закономерность. Больше зависим от небесных светил, чем от графика.

А участок мало-помалу разогревался. Прибавилось света, потому что больше лучей стало отражаться от все привозимых и приносимых на верстаки сотен и тысяч стальных, блестящих прошифованной поверхностью деталей. На глаза все больше стало попадаться раскрасневшихся и еще более похорошевших от этого девичьих лиц. Словом, температура внутри участка явно шла в гору. Может, потому и не так ошарашил вопрос: «Вы плавали в нашей Нерис?» Задала его слесарь четвертого разряда, ударник коммунистического труда Бируте Мугините, когда я поинтересовался ее мнением о бригадном труде. Пришлось признаться, что по случаю жаркой погоды мне уже довелось испытать такое удовольствие.

— Тогда вы сами, наверное, убедились, — продолжала Бируте, — что против ее течения не выплывет никакой самый сильный пловец. И даже по дву не всякий пройдет, если погрузиться в Нерис по пояс. Его повалит река и увлечет за собою. Тут один только выход: взяться за руки. Тогда все устоят на ногах. Даже те удержатся, кто до опоры ногами никак не может дотянуться.

С Бируте Мугините разговаривать очень непросто. Каждое слово она долго взвешивает, прежде чем произнести.

— Это потому, что я думаю на двух языках, — поясняет Бируте.

Закадычная подруга Бируте Таня Безяпович побойчее. И все-таки трудно поверить, что эта маленькая (метр пятьдесят с прической — по собственному признанию) девушка, неисправимая хохотунья, заражающая весельем окружающих, уже два года кормит и одевает себя и помогает родителям. А ей всего 18.

— Поскольку детали поступают к нам очень неравномерно, — говорит Таня, — мы сначала и накидываемся на ту операцию, которая укомплектована. А потом девочки с той операции переходят к тебе. И так далее. Получается, как в беге на длинную дистанцию с надежным партнером. То тебя от напора воздуха прикроет, то ты товарища заслонит. Таким способом и удается сохранить ритм и не сорвать дыхание.

Марьян Козловский, заместитель бригадира, расположился под большим лимоном. Дерево посадили по совету эргономистов, и оно так росло, что того и гляди плоды появятся. Однако в данном случае Марьян морщился вовсе не от лимона. Механический цех задерживал валки — детали, идущие на «родную» операцию Козловского, и он сел на запрессовку шпонок — работу более простую и не такую срочную.

— В бригаде можно думать, — сказал Марьян. Расшифровывается этот текст примерно так. Раньше он в основном занимался деталями, на которых было много запрессовок различных шестеренок и подшипников. Использовался для этих целей пневмопресс. Когда же в бригаде Марьян стал переходить от операции к операции, то само собой выходило, что он все время их сравнивает с тем, что уже делал и знал. Таким образом, дойдя до малюсеньких шпонок, по кото-

рым лупили огромным молотком, отшибая пальцы и уродуя сами шпонки, Марьян уловил явное несоответствие. Шпонки надо было запрессовать каким-то механизмом. Пневматика не годилась для такой нежной детали. И тогда Марьян придумал ручное приспособление, на котором ребята стали щелкать шпонки, как семечки. Между прочим, со времени организации бригады рацпредложений было подано немало.

Еще четыре года назад бригады на конвейере выглядели довольно формально. Каждый слесарь делал, что хотел, а что не хотел, считая невыгодным, не делал.

Директор Диджюлис собрал у себя руководителей цехов и служб и сказал: «Все вы тут, безусловно, старательные и грамотные люди, а вот что говорил Ленин о молодежи, знаете недостаточно». И тут же процитировал: «Идите к молодежи... Иначе, ей-богу, вы опоздаете (я это по всему вижу) и окажетесь с «учеными» записками, планами, чертежами, схемами, великодушными рецептами, но без организации, без живого дела. Идите к молодежи».

Это с сильным партийным акцентом сказанное слово при участии парткома и комитета комсомола стало быстро обрастать делами. Иначе говоря, оно и явилось пружинкой, давшей толчок настоящей работе заводского комитета комсомола.

Первая комсомольско-молодежная бригада сформировалась на конвейере, и возглавил ее Марьян Гольнис. Работая по-новому, она моментально «съела» весь запас узлов, которые собирал целый участок, работавший еще по старому, и остановилась, а Марьян Гольнис заявил: «Конвейер может ходить быстрее или медленнее, но рывками ходить он не может!»

Тогда Гена Тарасов пришел на участок узловой сборки и сказал, что почин надо подхватывать. Благо, и подходящий наставник оказался под рукой: мастер Владимир Федорович Репов, сам в недавнем прошлом слесарь, а в более отдаленном — по комсомольской путевке строи-

БИРУТЕ МУГИНИТЕ — ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ВОСЕМНАДЦАТЬ ОПЕРАЦИЙ ОСВОИЛА ДЕВУШКА.



ший дорогу Абакан — Тайшет. Почти сразу же в бригаде образовался складный костяк, а горбатые подключения стали отваливаться, как отвалился, к примеру, Скерис. (Фамилию этого рабочего я немного изменил.)

Однако прежде все-таки придется рассказать о пружине.

Ее действительно «много надо, и мороки с ней до шута», как говаривал Толя Дудников, потому что цикл работы очень длинный и проходит в разных местах. Но главная канитель получается оттого, что пружину заневоливают, то есть растягивают в особом приспособлении и оставляют в таком положении, как того требует технология, на сорок восемь часов.

Не всякий выдержит и будет спокойно двое суток ходить вокруг заневоленной пружины, особенно когда она нужна позарез. Так и Скерис считал: «Растянули пружину, сразу не лошудла,

Юрий КОРТНЕВ. Фото Владимира ЧЕИШВИЛИ. Специальные корреспонденты «Смены».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ну и давай ее сюда. Мура вся эта ваша технология! Я сидеть без работы не стану».

В бригаде его сразу же остановили, а чтобы он не простаивал, предложили другую работу, благо, в наличии было восемнадцать операций. Скерис возмутился: «Этими пустяками пусть девчонки занимаются. А я ничего, помимо сборки корректора, делать не намерен. Тем более, что никто, кроме меня, его не соберет».

Ему заявили, что соберут.

— Кто, хотел бы я узнать? — спросил Скерис.

Ему показали на недавно пришедшую в бригаду Бируте Мугините.

— Эта принцесса?! — покотился со смеху Скерис.

Он так хохотал, так размахивал руками, что расшиб о верстак локоть и пошел в поликлинику брать бюллетень.

— Приятное с полезным, — сказал он, уходя, — я посижу дома, а через три дня появлюсь и послушаю, как вы будете упрямить меня выйти на работу.

Однако через три дня в поликлинике могли бы отметить новую травму Скериса, только зафиксировал бы ее уже невропатолог. «Эта принцесса» работала быстрее Скериса и гораздо лучше. Кроме того, производственный участок сам превратился, по его мнению, в какую-то поликлинику. Это Надя Якимова наконец-таки достучалась до начальства. Там раскошелились. И все рабочие надели белые халаты, что совсем не вязалось, в представлении Скериса, с видом настоящего слесаря.

Но все же самым роковым и решающим для него фактором являлся копилка. Она висела на участке на самом видном месте, и каждый, кто для солидности производственный участок сам превратился, по его мнению, в какую-то поликлинику. Это Надя Якимова наконец-таки достучалась до начальства. Там раскошелились. И все рабочие надели белые халаты, что совсем не вязалось, в представлении Скериса, с видом настоящего слесаря.

— Я на одну только эту вашу церковную кружку работать не намерен, — заявил он и подал на расчет.

Удерживать Скериса не стали.

А дело после его ухода никак не остановилось. Напротив, пошло живей. Все сложнейшие сборочные операции, которые прежде считались монополией «старичков», еще успешнее стали производить молодые — Неёля Янушене, Регина Уждалите, Дана Андрушкевич, Ионас Бакулас, Альфреда Любенец...

Свою сменную долю в тысячу деталей Бируте Мугините прокручивает скорее всех. Потом идет на помощь к другим, поскольку всецело поддерживает заводской почин работать без отстающих. А чтобы принести в этом деле еще больше пользы, свою отвертку, которой винт корректора закручивали «сто лет», она заменила коловоротом. И легче и гораздо быстрее.

— Похоже, с детства у тебя к этому талант, Бируте?

— Никогда раньше не верила, что девушка может быть настоящим шалькальвис. Или — как это лучше сказать? — стать слесарем, — говорила Бируте.

ТЫСЯЧИ ТАКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ДЕВЧЬИ РУКИ, И КАЖДАЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ БЕЗОТКАЗНО.



По этой причине она и не пошла сразу после школы на завод, а приткнулась работать в ясли.

— ...Только скоро вижу, нет, не умею я тут ничего делать. Совсем было отчаялась, но, к счастью, встретились хорошие люди с завода. Привели на участок, приставили к делу.

Как объяснял Толя Дудников, в бригаде слабого подсаживали к сильному той стороной, в которую он валился. А если совсем уж был слаб человек, то его брали в клещи, поддерживали с двух сторон. К Бируте же подошли технически. То есть поняли, что она может работать только хорошо, и доверили ей самую тонкую операцию: ничего, дескать, если сначала у тебя не пойдет, у других вот и совсем не выходит. Поверившая в себя Бируте Мугините вслед за первой операцией быстро освоила и еще семнадцать. И с тех пор крутит, крутит и крутит — все, что надо для плана. Тысячи деталей проходят через ее руки и складываются в сложные узлы. Узел к узлу. И все, как один, принимаются ОТК с первого предъявления.

— Видел я, Бируте, как-то раз выступление по телевидению одного десятиклассника, выбирающего профессию. Так вот он, посетив примерно такой завод, как ваш, ужаснулся после: «Там идут детали, детали, детали... Детали всю жизнь. Нет, это не работа!»

Бируте смотрит на меня внимательно, потом говорит:

— Наверное, он просто не понял, что эти «детали, детали» не есть вся работа, а есть только детали работы.

— А в чем же тогда, по-твоему, вся работа?

— Я этого до конца не знаю, — говорит Бируте. — Я думаю, для меня она в Тане, в бригаде, в том, что я приношу здесь пользу всем.

В ее словах проглядывала устоявшаяся нравственная зрелость. И еще завидная способность этой молодой работницы по тому же высокому классу точности, по какому она собирала свои детали, сопрягать реальность мира и законы его бытия с жизнью человеческой. Такие люди нужны производству. Они его опора, потому что понимают свое значение и крепко держатся за свое право на ответственность.

Я подумал, что именно про таких, как Бируте, говорил, выступая перед харьковскими тракторостроителями, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев:

«Каждый сознательный рабочий, который не только хорошо работает сам, но и заботится об общем успехе своей бригады, цеха или предприятия, который смело вскрывает замеченные им недостатки и вносит предложения по их исправлению, — такой рабочий может с полным правом сказать о себе, что он делом участвует в управлении своим предприятием».

Действительно, считать себя управляющим может человек, который самые высокие требования в первую голову предъявляет самому себе. Он достоин доверия, потому что его управление будет четким и справедливым. А главное, оно

всегда будет коллегиальным, ибо такой человек не мыслит себя в отрыве от коллектива и по его росту отмечает свой рост и свои возможности. Словом, установка верная. Хотя сама Бируте Мугините вслух и не признается в своей причастности к данному положению.

— Слушай, Бируте, — говорю я, — а почему тот крепкий парень, когда идет к автомату с газировкой, то всегда и тебе захватывает стаканчик воды?

— Наверно, ему так нравится, — отвечает она тихо.

— А тебе?

— Я пью...

Бригада работает во вторую смену, а сплошные окна пролета выходят на запад и кажется, прямо в них сползает с неба огромное, раскалившееся за день солнце. Окна задернуты пестрыми шторами, но солнце прожигает их насквозь, нагревает верстаки.

У входа на участок, за первой кладовой, не усидевший до конца обеденного перерыва Толя Дудников забрался чуть ли не до пояса в моечную машину.

— Умыться решил?

— Эмульсией не умоешься, — бурчит изнутри Толя Дудников, громыхая в машине чем-то металлическим.

— Никак, детали пошли?

— Слезы, а не детали! Кулачковые валики привезли, а они завышенные.

— Что делать собираетесь?

— Промоем да попробуем прессовать.

Годных валиков обнаружилось в партии мало. А на взятом для пробы негодном, но в механическом цехе принятом напрессованный подшипник вращаться, естественно, не захотел, хотя Марьян Козловский и стукнул по нему с досады молотком.

— Эх, жалко, что копилку свою со стены мы убрали! — кричал Толя Дудников. — Пару-другую гривенников я сейчас уж точно для нее бы не пожалел!

— Спокойно-спокойно, — унимал Дудникова мастер Владимир Федорович. — У нас с тобой и похуже бывало.

По правде сказать, если со стороны, то худшее положение было трудно представить. Пока еще — на восемь часов вечера — бригада получила от смежников только одну четвертую часть необходимой комплектации — в узлы сложилось всего пять тысяч деталей. Остальные 15 тысяч предстояло ей прожевать в оставшиеся четыре часа.

Правда, электромонтеры с различными грузами забегали вокруг участка после обеда порезвей, словно они тоже подкрепились в столовой. Мастер сам приволок из термички целый ящик шестерней. Однако стрелка часов приближалась к девяти, и времени на работу осталось в обрез...

— Может, под занавес на крупных сериях проскочите? — осторожно предположил я. — Всей бригадой один узел, потом другой и так далее.

— Не получится у нас «и так далее», — отвечал Дудников, — потому что там Марьян Гольнис (иными словами, конвейер) уже задергался. Значит, все время придется напружиниваться, а все же необходимое количество узлов гнать на конвейер...

И все же утром в производственном отделе мне сообщили, что бригада с плановым заданием смены справилась.

А вскоре на заводе состоялся праздник.

Лучшая комсомольско-молодежная бригада завода, Литвы и всей отрасли получила дипломы и памятные подарки — часы — за победу в социалистическом соревновании среди комсомольско-молодежных коллективов предприятий и организаций союзного Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. «Я рад, ребята, что все вы теперь по одинаковому часам будете увязывать время свиданий, время походов в кино и все такое приятное прочее, — сказал на митинге начальник цеха В. Д. Егоров. — Но я действительно огорчусь, когда по этим же самым наградным часам вы зафиксируете минуту, в которую вас обойдет на работе бригада Марьяна Гольниса...»

Марьян Гольнис, очень спокойный и уверенный в своих силах человек, сразу сказал, что если все будет честно и конвейер будет работать плавно, то Дудникову долго в лидерах не ходить.

Толя Дудников только пожал плечами. Он знает, что в бригаде еще есть резерв производительности. И при налаженной ритмичности они могут сделать в полтора раза больше, то есть будущую пятилетку качества выполнить не за четыре с половиной года, а за три.

В это верится, потому что могут эти ребята работать. Знают, с какого бока подойти к делу, умеют уже со старта напружиниться.



Рисунок Марины ПИНКИСЕВИЧ

Римма КОВАЛЕНКО

РАССКАЗ

КАКОГО ЦВЕТА СЧАСТЬЕ...

Вам сколько лет?— Он смотрел застывшим взглядом без какого-либо к ней интереса. Возвышался над столом грузно, как мешок с песком, и на этом мешке — круглая голова, гладкое, без морщин лицо с тусклыми, равнодушными глазами. Таким он ей виделся, таким, конечно, был и на самом деле.

— Мне двадцать шесть лет,— ответила она полным предложением. Ответила, как ей казалось, независимо и строго.— Это имеет какое-нибудь отношение к делу?

— Абсолютно никакого. Просто спросил.

Секретарша его, худенькая белобрысая девочка Шура, незаметно, каким-то святым духом, вдруг возникла у стола, положила перед ним папку с бумагами и тихим, заискивающим голосом спросила:

— Я пойду, Андрей Андреевич?

— Иди.

Она ушла, верхней, проплыла робко и невесомо, дверь закрыть у нее уже не хватило порогу, и было видно, что в приемной погашен свет, что рабочий день закончился.

— Я вас задерживаю?— спросила Женя. Спросила из вежливости. Никто никого в этом случае не задерживал. Она была здесь не в гостях, а тоже на работе. У каждого своя работа. Один сидит в кабинете и руководит. Другой приходит к нему и говорит: «Надо бы вам руководить получше: о каждом человеке, о его жизни думать».

— Нет, я не спешу,— ответил он.— Могу вам уделить еще минут пятнадцать.

Она поглядела на него с сожалением — «уделить». Сколько бы он ни «уделял», каши с ним не сварить. Но все-таки надо пронять его, нельзя не пронять. Это не каприз и не прихоть, это ее работа.

— Вспомните свои молодые годы,— сказала она,— ведь когда-то и вы были молоды.

Он поднял брови, может быть, хотел изобразить удивление, но глаза подвели, по-прежнему в них ничего не отражалось.

— Был. Двадцать шесть мне стукнуло в сорок третьем, в Сталинграде.

— Вот видите,— она глянула так, будто упрекнула,— вы фронтовик, чужое горе не может быть вам безразличным. Я знаю, что такое Сталинград.

За всю их долгую беседу он первый раз улыбнулся.

— Интересно получается: кто родился после войны, знает о ней больше, чем мы.

И замолчал, задумался.

Тянет время. Женя многозначительно вздохнула.

— Так что будем делать, Андрей Андреевич, с Байковыми?

— Не знаю.

— Удивительно. Кто же тогда может знать?

— Постройком.

— Господи боже мой,— ему было, наверное, под шестьдесят, но почему-то в этом разговоре она чувствовала себя старшей,— какой постройком? Я говорю о живых людях, о молодой семье. У постройкома — списки, справки, а тут живая судьба, которая летит в пропасть.

— Никуда она не летит.
— Летит. Я вам в третий раз говорю, что Вера Байкова уезжает, она уже подала заявление. Семья рухнет. Это нормально!

— Когда начиналась стройка, я целый год жил один, без жены. Очень хорошо было. Приду вечером: кофеек сварю, телевизор включу.— Он закрыл глаза и послал ей вторую улыбку, доверчивую, ясную, как у спящего младенца.— А что сейчас? Не успеешь дверь открыть — навстречу большой такой вопросительный знак: «Позже не мог прийти?» По-моему, она меня до сих пор ревнует.

Он совсем не так прост, каким умеет казаться. И глаза специально равнодушными делает, а сам все сечет. Ну, берегись, демагог!

— Андрей Андреевич, я ведь не родственница Байковых, не школьная их подруга. Я представитель газеты. И, наверное, мне придется написать статью, рассказать, как относятся к вашей стройке к молодым семьям.

— Почему же только к молодым? К старым мы тоже имеем отношение. А что, старые семьи не по вашему ведомству?

Издавается. На здоровье. У нее такая работа — надо иногда терпеть.

— Не по нашему. Мы молодежная газета.

— А вы сами замужем?

— Замужем.

— И дети есть?

— Есть. Один. Четыре года.

— И квартира есть?

— Есть.

— Это хорошо.

Он поднялся и вдруг оказался высоким. И совсем не грузным, прошел в угол кабинета к вешалке, бросил на руку плащ.

— Будем считать, что разговора у нас не было. Просто познакомились. Завтра я разберусь с вашими Байковыми.

— С вашими.

— Какие же это «наши», если жалуются, бегут, не выдерживают трудностей. «Наши» не бегут. «Наши» строят.

Она думала, что у подъезда его ждет машина, но асфальтированная площадка перед зданием управления была пуста.

— Я, знаете, о чем подумал? Квартира — это просто квартира, не просто жилье. Квартира — это мировоззрение.

— Это я учила: бытие определяет сознание.

— Учили. А задумывались над тем, что определять определяет, но ведь не рождает. А как это сознание родить? Как добиться, чтобы мировоззрение у человека было не квартирное, а государственное? Вы об этом не думали?

— Подумаю.

— Ну и молодец.— Он протянул ей руку, попрощался и повернул направо, туда, где за молодыми посадками каштанов и лип возвышалось восьмизэтажное жилое здание. А Женя Тарасова постояла на асфальтированной площадке и пошла в сторону троллейбусной остановки, до которой было километра два.

Что ни говори, а если бы к нему в этом же корреспондентском звании явилась тетя лет сорока, габаритная и самоуверенная, он бы совсем по-другому с ней разговаривал. И на машине бы доставил к гостинице. И не позволял бы себе отеческих вопросов и откровений. «А вы сами замужем?» «По-моему, она меня до сих пор ревнует». Это не фразы, а отмычки, обыкновенные, демагогические. И все-таки он испугался, как сказала бы Валентина, «втянул живот». «Будем считать, что разговора у нас не было». Был разговор, был. Что же тогда было, если не разговор? И Байковым он поможет, квартиру даст. И тогда она, Женя Тарасова, напишет статью, в которой похвалит его возраст, фронтовые заслуги и сегодняшний пост. Смысл этой статьи будет в том, что если бы каждый человек помогал хотя бы одному человеку, все люди были бы счастливы. Конечно, она напишет не так прямо, не в лоб. Она напишет так, как написала бы Валентина: «Вы знаете, какого цвета счастье? Вам мнится, что оно розовое или голубое, а у него строгий двойной цвет: черный и белый. Черный — это когда квартира запущена и надо мыть полы и окна, стирать белье, искать водопроводчика, чтобы тот починил кран на кухне. В белый цвет окрашены другие часы жизни: в духовке поспел пирог, по телевизору показывают фигурное катание, сын, с розовыми щеками после купания спит в соседней комнате чистым глубоким сном. Но, чтобы у счастья были эти два его цвета, нужна квартира. Непременное, изначальное условие человеческого счастья...»

Она шла к троллейбусной остановке и страдала, что эти — такие замечательные — строки не задержатся в памяти, исчезнут, когда придет пора писать. Надо бы остановиться, достать блокнот и прямо здесь, на дороге, в вечерних сумерках записать эти слова, но не было сил, к тому же подступила жалость к себе: Антон уже час назад привел Саньку из детского сада, сидит в кресле, читает книжку. Дитя бродит по квартире голодное, чайник на плите выпускает последний пар, а он все читает книжку. Завтра поведет Саньку в детский сад в той же рубашке и носках, воспитательница скажет: «Мама, конечно, в командировке». Когда же их мама вернется домой, наградой за ее вот эту неприкаянную жизнь в чужом городе по чужому делу будут слова Антона:

— Слушай, когда-нибудь этому будет конец?

Она ответит:

— Будет. Если ты женишься во второй раз более осмотрительно. Но помни, что актрисы ездят на гастроли, спортсменки — на соревнования, ткачики везут в другие города опыт, а докторши и кандидатши наук обожают симпозиумы тоже подалеже от собственного дома.

— Во второй раз я женюсь на лифтерше тете Паше,— ответит Антон. У него легкий характер и доброе сердце, он не выносит длительных ссор,— она свяжет мне шарф.

— Я тоже что-нибудь свяжу своему второму мужу. Вернусь из командировки, увижу чистые полы, посуду, уют и красоту, которую он навел, и прямо с порога начну вязать.

Мать Антона, которая приходит в воскресенье и слушает иногда такие разговоры, качает головой и просит:

— Дети, не гневите бога.

Эти слова означают, что у них хороший дом, хороший сын, а вот такими разговорами можно накликать беду.

Но есть у них и другой повторяющийся разговор, когда они не могут друг друга понять и ссорятся всерьез.

— И все-таки я не понимаю твою работу,— начинает Антон,— кто ты такая, чтобы писать о людях и выносить им приговор?

— Я газета,— отвечает она,— частичка газеты. Ты думаешь, что газета — бумага, а газета — это люди: он, она, я...

— И каждый из вас умней, лучше, выше всех других!

— При чем здесь «выше»? Это профессия: писать статьи. Я этому училась, научилась, и я это делаю. Ты учишься рисовать, научился и сейчас рисуешь. Какое у тебя право рисовать человека, создавать его художественную копию? Природа уже один раз создала его и не уполномочила тебя его тиражировать.

— Не залутывай. Я создаю не человека, а портрет его. И если он не знаменит, не прекрасен, то я и не подписываю его фамилию. Я выставляю портрет безобразно некрасивого человека и не подписываю «Урод Варфоломей Иванов». Я назову «Судьба», или «Жертва», или, к примеру, «За что». А ваш брат пишет фельетон, рисует конкретного человека с конкретными пороками и заключает: не берите пример с этого ужасного Варфоломея Иванова.

— Но ведь он рисует правду.

— По какому праву?

— По праву правды. По праву борьбы с пороками.

— Но ведь этот Варфоломей — живой человек. У него дети, у него мать больная. Рикошетом же ваша правда бьет по ним.

— А если этот Варфоломей делега, подлец, жуткая, беспринципная личность? Тоже нельзя тронуть?

— Нельзя. Для этого есть суд. И все его подлые штучки должны быть там рассмотрены и доказаны. Но пока не доказаны, никто не имеет права назвать его делегой и подлецом.

— Журналист тоже доказывает. На глазах у всех доказывает.

— Значит, он и судья, и прокурор, и адвокат в одном лице?

— Ты просто не уважаешь мою работу. У всех художников мыслительные центры ослаблены, это профессиональное.

— Напиши об этом в своей газете, и я посмотрю, что с тобой сделают художники.

Они ссорились. Женя плакала. Антон расквашивался и обещал:

— Больше не буду. Если даже будешь втраплять меня в такой разговор, закроюсь в ванной и, чтобы ничего не слышать, отворю кран.

Она села в троллейбус, не посмотрев на номер. Отсюда все номера шли к центру.

В гостинице, когда она брала ключ от своей комнаты, дежурная протянула ей записку:

«Уважаемая Евгения Николаевна! Извините за беспокойство, но мне очень надо поговорить с вами. Это касается того дела, которым вы занимаетесь. У меня есть интересные вас факты. Я буду звонить вам в 20, 21 и в 22 часа сего числа. Фамилию свою называть не буду. Так лучше».

Ну, что ж, звони, анонимный помощник. Она вошла в свой номер, зажгла свет, поглядела на часы. Десять минут девятого. Есть время сходить в буфет.

А письмо о «деле» Байковых было четкое, не жалобное, она любила такие аккуратные, грамотные письма. «Дорогая редакция, два года мы с мужем работаем на одной из самых решающих строек пятилетки. Он — бетонщиком, я — маляром. Год назад постройком нас заверил, что в первом квартале этого года мы получим квартиру. Но вот на дворе третий квартал, а мы все еще живем у хозяйки, в проходной комнате. Через неделю будут заселять новый дом. Мы в число новоселов опять не попали. Вчера я отнесла в отдел кадров заявление. Увольняюсь. Надоела такая жизнь. Мне двадцать два года, у меня дефицитная специальность, и я найду место, где начальство не обманывает рабочих. А то, что мой муж не хочет ехать со мной, его личное дело. Когда я получу квартиру, он придет. А не придет, значит, так тому и быть».

Пишу я вам не о себе. Я уже решила: уезжаю. Пишу, чтобы вы обратили внимание, как на нашей стройке относятся к молодым семьям, как губят любовь и счастье, обманывают и не находят нужным даже извиниться.

Вера Байкова».

Она послала Вере телеграмму: «Буду восьмого, задержитесь. Тарасова». Думала, что найдет Байковых в бревенчатом домике где-нибудь на окраине города, но проходная комната, в которой они жили, оказалась в новом доме, на новой улице недалеко от стройки. Вера и муж ее Александр были на работе. Хозяйка, еще молодая, лет тридцати женщина, обрадовалась приходу корреспондента, засуетилась, поставила чайник на плиту, стала накрывать на стол. «Красивая», — отметила Женя. Такие женщины ей нравились. Чуть выше среднего роста, светловолосая, с внимательными глазами, с доброй, какой-то прощающей улыбкой.

— Вы не беспокойтесь,— попросила Женя ее,— вы мне расскажите, что тут получилось с квартирой у Байковых.

— Обманули,— ответила женщина,— подошла очередь, а вместо них сунули семейку, которая вообще никакого отношения к стройке не имеет.

— И чем они это мотивировали?

— Мотивировали! Очень им надо мотивировать! Сказали, что дадут в следующем доме. А дом этот только к ноябрьским будет сдаваться. А Саша такой человек, никогда не пойдет отстаивать свои права. Вера его пилит, а он только: «Ладно тебе».

В квартире было чисто, уютно, мебель новая, подобранная с толком и вкусом.

— Спят на моей тахте, мне не жалко. Я их, честно говоря, полюбила. Они меня, можно сказать, спасли.— Женщина вопросительно поглядела на гостью, видно было, что ей надо рассказать что-то свое, личное.— Вы не осудите меня за откровенность?

— Что вы!

— Эта квартира не вся моя. Муж у меня еще тут прописан...

Глядя в глаза, веря, что Женя сейчас даст ей единственно правильный ответ, она рассказала свою историю. Муж у нее с высшим образованием, экономист. Ну, и там, в своем отделе, начал к одной присматриваться. В столовую обедать вместе ходили, потом стал к троллейбусу провозжать...— А у меня в их отделе приятельница работает, так что я была в курсе. Что тут делать? Сцену ему устроить? Мы семь лет женаты, он с меня пылинки снимал, все люди видели, как он ко мне относится. А тут другая. Подумала, подумала и решила: раз ты такой, я тебя с политичным поймаю. Потерплю, выжду, а потом одним разом рассчитаюсь за все страдания.

И выждала и рассчиталась. В дверь к той, другой, постучалась. Сидит муж за чужим столом, с чужой женщиной, бутылка вина на столе...

— Собрала я ему чемодан и в тот же вечер к их двери поставила. А на завтра Веру и Сашу позвала к себе жить.

— Остался он у нее?

— Нет. До сих пор прощения просит. Не могу простить. Вспомню, как они вдвоем за столом сидят, в глазах темно.

— А вы его любите?

— Страдаю я. Кто же страдает, если не любит?

У Жени был для нее ответ. Подумала, что, случись такое с ее Антоном, она бы вовек не простила, но у этой женщины нет другого выхода. Сказала твердо, даже чуть жестковато:

— Надо мириться. Надо простить и забыть.

Женщина закрыла лицо ладонями и засмеялась.

— Ой, спасибо! Все мне то же самое говорят, но что они знают. А вам верю.

Вера и Саша пришли часа через два. Вера оказалась худенькой, чернявой, с острым личиком, из тех женщин, которые всю жизнь выглядят подростками. Муж ее, хоть и не был толст, явно принадлежал к увальням. Не надо было вглядываться, чтобы увидеть, что Вера в семье главная. Не присаживаясь к столу, налила себе чашку чая, схватила бутерброд и стоя, пристукивая ногой, пила, ела и говорила:

— В жизни все зависит от того, кто как умеет постоять за себя. Сашка ничего не умеет. Ему ничего не надо. Его где ни посели, хоть под мостом, хоть под калиновым кустом, везде будет жить.

Женя поглядела на ее мужа. Он стоял посреди комнаты, как двоечник у доски, глядя в сторону, дышал, как вздыхал, потом боком придвинулся к тахте, присел на краешек и покачал головой, не одобряя всего того, что говорила Вера.

— Ладно тебе,— сказал он, когда Вера со злостью стала обрисовывать семью, которая заняла их квартиру, и это «ладно» означало — замолчи, постыдись, ведь несешь черт те что.

— Я специально к ним пришла,— говорила Вера,— звоню: открывает дверь старик, нос грушей, усы, как у моржа, и дама его тут как тут, лет так за семьдесят, но выглядит на шестьдесят восемь, в нейлоновом стеганом халате — умереть легче. Я говорю: «Я из санэпидемстанции. Мышки-тараканы есть!» Они мне: «Какие мышки? У нас и кошка отродясь мышей не видала, дом новый». Но я все-таки проникла, проверила, есть ли у них щели, вышла от них, прислонилась на лестничной площадке к стене и ушами слышу, как сердце стучит. Такая квартира!

— А кто эти старики?

— Никто. Я узнавала. Просто пенсионеры. Ну, конечно, кем-нибудь начальству приходится.

— Ладно тебе,— сказал Саша, поднялся, вышел на середину комнаты и сказал то, что сидя на тахте обдумал.— Тут дело такое. Они нас действительно надули. А кто в квартире живет — это дело десятое, это к нам не относится. Верке нельзя уезжать. Она на заочном в институте второй курс кончает. Квартиру надо здесь ждать.— Он повернулся к Вере, и Женя увидела, что есть у него и характер, и самолюбие, и еще неизвестно, кто у них лет через пять будет в семье главным.— Ты уж, если за правду борешься, и сама правды держись, говори и договаривай. Подруга ее сманивает. В том городе, где мы жили, пивзавод огромный достраивается, штукатурам и малярам в трехмесячный срок квартиры дают. Там три месяца ждать, здесь — четыре. Зато здесь какой завод, а там — пиво.

Он сморщился, будто это пиво уже кто-то поднес ему и было оно горькое, как трава.

Телефон зазвонил ровно в 21.00. Женя подошла поближе к блоку, поудобней устроилась в кресле и сняла трубку.

— Слушаю вас.

— Товарищ Тарасова, я по поводу тех безобразий, которые у нас творятся с квартирами.— Голос был немолодой, с хрипотцой. Человек на том конце провода волновался.— Вы разобрались с Байковыми?

— А кто это говорит?

— Не спрашивайте. Лучше подумайте, до чего довели человека, если он боится назвать свою фамилию.

— Говорите конкретно, кто вас довел, я не могу сочувствовать неизвестно чему.

— Я не о себе. Я о безобразиях. Шофер главного энергетика Скурилло получил двухкомнатную квартиру, проработав на стройке два месяца.

— Чья фамилия Скурилло, шофера или главного энергетика?

— Шофер Скурилло. Не женат. Записывайте. Повозил главного энергетика два месяца и получил отдельную двухкомнатную квартиру. Главному энергетнику тридцать один год, я ни на что не намекаю, но поинтересуйтесь, куда и к кому, а может быть, с кем он возил энергетика.

Трубку на том конце положили не сразу, слышно было, как собеседник дышал, дожидаясь, что скажет она. Но не дождался и положил трубку.

Она записала: Скурилло. Голос анонимного помощника вполз в комнату и наполнил ее тревогой. Как там ее собственная квартира? Набрала ноль семь, заказала междугородную.

— Это ты, Антон? Как вы там?

— Нормально. Когда вернешься?

— А вы очень ждете?

— Очень. Санька спрашивает: «Скоро мама опять приедет?»

— Он спит?

— Спит.

— Я хочу домой. Слышишь, я хочу к вам.

— Слышу.

— Почему не говоришь: приезжай скорей!

— Мои слова могут ускорить приезд?

— Нет, конечно. Но все равно надо говорить: приезжай скорей, приезжай скорей...

— Приезжай скорей.

Она долго не могла уснуть. Сон подплывал, обнимал своим теплом, но вдруг появлялся маленький небритый мужчина, открывал стеклянную дверь телефона-автомата, подмигивал ей круглым светящимся глазом, она вздрагивала и просыпалась.

Надо забыть командировочные дела и думать о чем-нибудь другом. Она любила думать о Валентине. Это были наивные и вместе с тем самые прекрасные видения, которые когда-нибудь перед ней возникали... Заведующая отделом литературы и искусства Валентина Жук. Ее статьи и рецензии, лицо,

одежда, походка — все было, как теперь говорят, со знаком качества. И Женя мечтала стать такой. Чтобы звонили телефоны и люди с разных концов города поздравляли с опубликованной статьей, чтобы девчонки из машбюро срывались с нее фасоны плащей и посетители в редакции, смущаясь, просили: покажите Е. Тарасову, только незаметно, чтобы она не увидела.

Она выбьет квартиру Вере и Саше Байковым, а потом расскажет об этом в статье, и Валентина позвонит из соседней комнаты и скажет: «Женечка, это прекрасно...»

Управляющего не было, и она уже около часа сидела на диванчике напротив белобрысой, пугливой секретарши Шуры и пыталась ее разговорить.

— Человек должен иметь собственное мнение,— говорила Женя,— а вы боитесь слово сказать.

— Почему боюсь?— шепотом отвечала Шура.— Я тут недавно и ничего не знаю.

— Я вас не о стройке спрашиваю, а совсем о другом. Тут знать нечего, надо просто иметь собственное мнение. Человек, в данном случае ваш управляющий, назначает корреспонденту прием в три часа. Сейчас без семи минут четыре, а его нет. Это хорошо?

— Я не знаю. Наверное, его кто-нибудь задержал.

Он появился ровно в четыре. Начальственным жестом указал Жене на дверь: прошу. Сам прошел вперед, повесил плащ, направился к столу. Женя повернулась в кресле так, чтобы не сидеть к нему профилем, а глаза в глаза. Достала блокнот, шариковую ручку, подняла голову и увидела, что это был уже другой управляющий, не вчерашний. В его глазах появилось выражение. Он смотрел на нее, как на врага.

— Я разобрался с семьей Байковых. Мы даем им квартиру из резерва построенного дома.

— Вот видите.— Она вздохнула с облегчением, хотя и не сомневалась, что так оно и будет.— Но разве нельзя это было сделать сразу? А если бы Вера Байкова не написала в редакцию, если бы я не приехала?

— Тогда бы они не получили. И тогда бы я лично не знал, что Виктор Смирнов, член нашего застройкома, уже скоро год скитается без жилья и последние два месяца незаконно живет в общежитии.

— Какой Виктор Смирнов?

— Хозяин квартиры, в которой живут Байковы.

Женя помолчала: значит, квартиру Байковы получили потому, что заняли место ее хозяина, Виктора Смирнова. А кто тогда занял их квартиру?

— Этот случай, Андрей Андреевич, меня интересует по многим причинам,— сказала она значительно. Пусть он не думает, что так просто вывернулся из этой истории.— Почему вообще возможны нарушения в распределении квартир? Кто, например, занял квартиру Байковых? И по какому праву занял?

— Там живут Афанасьевы. Квартиру им вне очереди выделил застройком.

— Но ведь они даже не работают на вашем строительстве.

Управляющий поднялся, шея и щеки у него покраснели.

— Они работали. Все отдали стройке. Он сорок лет, она тридцать пять. Не этой — другим. Стройки нет постоянной, и вместе с тем она одна. Это у них первая в жизни квартира. А в молодости, в ваши годы, — палатка, барак...— Он задохнулся, дрожащей рукой нажал хвостик сифона с газированной водой, струя облила ему рукав, и, когда пил, несколько капель упало на галстук.— Молодая семья, у нее все впереди, ей надо в первую очередь... А у кого все позади, тому в какую очередь? Я за стариков! Молодые поспеют к квартирному раю, а вот старикам надо успеть что-то дать. Да! — Он прошелся по кабинету, остановился.— Надо успеть!

Вытер платком лоб, сел, положил ладони на гладкую, полированную поверхность стола.

— Недавно анонимку из газеты переслали, дескать, шофер нашего энергетика, проработав два месяца на стройке, двухкомнатную квартиру получил. Это ж надо! У человека жена умерла, дочка его Шурика вон у меня в приемной сидит, мать к нему переселилась, чтоб в беде помочь, и тут кто-то позавидовал! — Он выпил еще воды и утих. Тихим, усталым голосом спросил: — Что за люди такие, чему завидуют?

— Его фамилия Скурилло?

— И вам успели пожаловаться?

— Может, не завидуют, а просто не знают и... домысливают.

— Так надо, чтоб знали.

— Вы это мне говорите?

— Кому же еще? Вы же пресса. Приехали квартиру выбивать, вступились за молодую семью. Потом распишете в статье, как взяли управляющего за горло, квартиру Байкову обеспечили. И пойдут к вам письма. И будете вы каждому квартиру выколачивать.

— Что же делать? — Она спросила неожиданно для себя своим естественным, «домашним» голосом.

— То, что и делали,— ответил управляющий,— мы будем строить, вы — статьи писать. Я позвоню в вашу редакцию, попрошу, чтобы продлили вам командировку. Вам надо хорошенько изучить этот вопрос. А то декларируем на каждом совещании — гласность, гласность, а доходит до дела, и каждый, кому не лень, изобретает свой сюжет на квартирную тему. А вы разберитесь досконально. У нас, строителей, этот вопрос специфический. Пять-шесть лет на одном месте, только обживемся, к горячему душу привыкнем и... опять из временок в очередь выстраиваемся. Так звонить редактору?

Она молчала. Антон скажет: ну, ты, мать, отличайся! Может, не в детский сад, а в детский дом определить Саньку? Она ответит: а как другие мужья, у которых жены проводники, геологи, тренеры? И еще скажет, что не собирается бросать свою профессию. Кроме своей квартиры с потолком, окнами и кухней, у нее каждый город, каждый поселок — квартира. В ней она гость и не гость. И уж совсем не прокурор, судья и адвокат в одном лице. Она поняла вдруг, кто она такая — помощник. Сейчас, вот в эту минуту, помощник управляющего строительным трестом. Она постарается ему помочь. Познакомится с Афанасьевыми и расскажет всем, почему они живут в квартире Байковых, расскажет о шофере главного энергетика и о несчастном, обогрленном человеке, который звонит и боится назвать свою фамилию... Такую статью не начнешь словами: «Вы знаете, какого цвета счастье?» Тут нужны другие, точные слова. Ей стало вдруг безразлично, понравится такая статья Валентине или нет. Валентина «квартира» — театры, новые фильмы, вернисажки. Искусство, конечно, требует жертв, но все-таки меньших, чем жизнь.

— Что задумались? — раздался голос управляющего.— Остаетесь? Будем звонить редактору?

— Будем.

Она поглядела на него благодарно, как ученица на мастера.

БОГАТЫРСКАЯ ЗА

За четыре с половиной года 9-й пятилетки БелАЗ увеличил объем производства на 45,4 процента, причем прирост за счет повышения производительности труда составил 87,5 процента.

Разработана конструкция, проведены испытания и выдана документация на 120-тонный автопоезд и 75-тонный самосвал, изготовлена первая промышленная партия аэродромных тягачей. 40-тонному самосвалу «БелАЗ-546» присвоена высшая категория качества.



ГИГАНТЫ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Вы не найдете на карте девятой пятилетки ни одного крупного гидростроительства, рудника или угольной шахты с открытым способом добычи, где бы не работали большегрузные самосвалы или автопоезда Белорусского автомобильного завода. Выносливые, сильные, экономичные «БелАЗы» просто незаменимы, потому что трудиться там — их природное призвание. Использовать вместо них другие машины так же нецелесообразно, как нецелесообразно, например, возить в мотоциклетных колясках зерно от комбайнов...

А приходят «БелАЗы» из города Жодино. Это новый город в пятидесяти километрах от Минска.

В ТИХОМ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

Богатыри рождаются в маленьком городе. Непривычно как-то звучало на первых порах. Привыкли к тому, что гигантские производства размещаются в Ленинграде, Горьком, Харькове... А тут — Жодино. Даже не город поначалу, а поселок. И вдруг такой завод! Первый в стране завод больших машин, этакая богатырская застава на-

шего автомобилестроения, откуда вышли один за другим братья-великаны — тяжелогрузные самосвалы.

Теперь-то редко кто удивляется, потому что приметой последних пятилеток стали как раз молодые города, города — машиностроители, гидроэнергетики, химики. Взять хотя бы Белоруссию — Новополоцк, Солигорск, Новолукомль, Светлогорск...

И все-таки удивляться стоит!

...Рядом дорога из Бреста в Москву. Прежде едва ли проезжие обращали внимание на маленький поселок Жодино. Сколько таких мелькало на длинном пути! Домики, палисадники, ребяташки, играющие на малолюдных улочках... В сорок седьмом году в Жодине заложили завод торфяных машин. Потом что-то изменилось в планах, и завод перекрестили в завод дорожных машин. В пятьдесят восьмом на его базе (номинально, конечно, а фактически-то заново) основали Белорусский автомобильный завод машин — БелАЗ.

Гигантский размах строительства породил в стране огромную нужду в большегрузных машинах. Поначалу их поручили делать Минскому автомобильному заводу. Там сложилась группа конструкторов-«тяжеловесов». Увлеченные идеей, способные люди, они сравнительно быстро разработали первую модель «МАЗ-525» — двадцатипятитонника, способного взвалить на свои плечи ношу, какая прежним грузовикам и не снилась. Когда вышло решение построить завод в Жодине, «МАЗ-525» приняли для него в качестве основной и единственной пока продукции.

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ГИГАНТЫ ГОТОВЫ К ОТПРАВКЕ!

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК КОНСТРУКТОРОВ



ИСПЫТЫЮЩИЙ СВЕТ

Две березы

Березы вечно две. Одна бледна. Другая
Бела. Одна крива. Ее сестра пряма.
Одна с отвесных круч ползет, изнемогая,
Другая вдали глядит с пологого холма.

Одна—как манускрипт. И как письмо индейца:
Рисунок на коре наивен... Или мудр...
А та — сплошной пробел. И нечего надеяться
Понять глухой рулон изображеньем внутри!

Березы вечно — две. Для равновесья, что ли,
Одна—в лесу густом, другая—в чистом поле!
Та дышит тайною, а эта — простотой...
Вся в «яблоках» одна, как конь
[живущий в холе!],
Другая — вся в рубцах, как мученик святой.

Монахиней она покой обходит вечный,
С нездешним холодом на ризах дождевых.
А та, придумав сеть,— хитрец
простосердечный! —
Перенимает птиц у веток вишни встречной.
Одна для умерших, другая — для живых...

Иная — в цвете дней — по увяданью вянет:
Архангельской трубой буди ее — не глянет!
Так низко клонится!
Всей силой всех ветвей
Так рвется в обморок!.. [Откуда в самом

деле,—
Столь нездоровый дух в таком здоровом теле!
Что я ей сделала! И что мне делать с ней,
Чтоб удержать ее от вечного паденья!
Но... доставляет ей, должно быть,
наслажденье
Мне сердце растревать, смеясь исподтишка...
Как если бы утес, бесчувственно-суровый.

Всегда склоненный ниц, но, в сущности,
здоровый,
Играл надорванным сочувствием... жука!

Есть ива над водой для покаянной позы;
Не лейте горьких слез хотя бы вы, березы!
Светлокудрявые, со сливочным стволом,
Вы ж сушей рождены!..

Вот так, от самых дальних
До тех, чьи тени здесь; от плотных
до хрустальных;
От пестрых до простых; от млечно-
изначальных
До измочаленных, с надломленным крылом—
Березы вечно две!

МОИ, по крайней мере,
Блуждают по двое... Погода, что ни час,
Перерождает лес. Но из несметных серий
Две неизменные мой различает глаз.

Не те же самые! Зачем! Всегда иного
Полку и племенн. Но — спорящие снова,
Не поделившие чего-нибудь опять...
Я озарения в них вижу и просчеты.
Веселость и надрыв. Падения и взлеты.
Жуть византийскую и ясности печать...

Березы вечно две.
[Быть может, есть и третья!
Но где она растет! И если не столетья
На поиски уйдут, то... сколько ей расти!
Не знаю... У меня их только две поныне].
С одной запропадешь! Но из трясиной
стыни
Другая, может быть, придет меня спасти.

Полдень—это полный, с верхом полный, день.
Перетерло блеском старенькой плетень;
Там, где он надорван, слаб или петлист,
В каждой его щелке свет стоит, как свист.

В каждом его ушке свет стоит, как свист...
...Как наказан клена выставочный лист!
Куда он ни юнхся [хоть в кротовый грот],
Свет его настигнет, жар его проймет.

Свет его настигнет, блеск его проймет,
Золотым на месте гвоздиком прильнет...
Сад — источник тени, тени ищет сам...
Но и тень ладоши горяча глазам.

Даже тень ладоши горяча глазам...
Протрещит, как уголь, жук по волосам...
Дымно-голубая, стертая сирень,
Как Шлеммль¹ волшебный, потеряла тень.

Как Шлеммль чудесный, потеряла тень...
Тихо... Только пчелам двигаться не лень;
Как под полотенцем чайник с кипятком,
Яблоня клокочет каждым лепестком.

Яблоня рокошет каждым лепестком...
То ли кто смеется сахарным смешком!
Ключницы ль бранятся — звякают ключи!
Ничего не видно в солнечной ночи...

Слепнешь поневоле в солнечной ночи...
Выпростав плечо из белой епанчи
Яблонь белых-белых, вспугивая пыль,
Я иду без тени... Тоже как Шлеммль...

¹ Герой известной сказки Шамиссо.



Завод рос. А Жодино, чтоб быть под стать ему, спешило зажить по-городскому. В первую очередь торопили строителей. Они заложили в поселке современные жилые дома, школы и стадион, Дворец культуры и магазины, заводской профилакторий, детские сады, поликлинику... Появился филиал белорусского политехнического института, техникум, профессионально-техническое училище...

Теперь город Жодино известен и популярен. Сюда едут смотреть, учиться, знакомиться с людьми, имена которых завод обеспечил авторитетом и славой. Николай Матвеевич Усаньков, директор, рассказывая мне о последних переменах на заводе, несколько раз отвлекался по поводу, очень существенному: завтра ждали японскую делегацию.

БИОГРАФИЯ СЕМЕЙСТВА

Спрос, спрос, спрос... Спрос на грузовики-великаны. Спрос с завидным аппетитом. На вырост... Двадцать семь тонн самосвал берет одним разом. Хорошо! Но надо бы побольше. Сорок... Отлично! Но не предел же! Семьдесят пять... Но нашлась бы работа и для более мощного! Сто двадцать...

Автомобилестроение — одна из самых ярких отраслей индустрии в том смысле, что точно и убедительно отражает диалектику развития народного хозяйства страны, прогресс экономики. Чем быстрее его движение, тем объемнее и разнообразнее требования к автомобилестроителям. И вот... понадобились большегрузные автомобили. Доказано, что лучше их никто не справится с об-

служиванием крупных строек, рудников и шахт с открытым способом добычи. Железная дорога строже выбирает крутизну подъемов и спусков, радиусы поворотов пути; по мере выработки разрезов нужно все дальше и дальше тянуть рельсы. Автомобиль неприхотливее. К тому же в глубинных районах где-нибудь на Крайнем Севере прокормить одну машину легче, чем десять; там, в малолюдных местах, даже проблема шоферов под-сказывает, что чем меньше автопарк, тем лучше. Словом, на гигантов рассчитывали и рудники Казахстана, и сибирские стройки, и криворожские горняки, и покорители недр Якутии, Дальнего Востока, Средней Азии...

...Конструкторы, перебираясь из Минска в Жодино, хорошо знали, что их тут ждет. Подходящих помещений, естественно, еще не было, сидели в тесноте, а кульманами пользовались по очереди; за нужной литературой ездили в Минск (напомню: сто километров в два конца); неустроенный быт безжалостно расхищал время и силы. Но костяк группы — Сироткин, Зотов, Терновский, Иванов, Добрых — не только сохранился и сохранил работоспособность, но и стал сплоченнее, упорнее, собраннее. Тяжелым машинам не изменил никто. Напротив, конструкторы все больше становились романтиками своеобразной целины: в обсуждениях, расчетах, набросках вырисовывалось новое семейство автомобилей, иное в конструктивных решениях, принципиально реальных, но во многом зашифрованных временем, а потому и особенно заманчивых.

Чем больше они думали о семействе, тем больше им хотелось заменить «МАЗ-525» первым «БелАЗом». И в шестьдесят первом году он поя-

вился — двадцатисемитонный самосвал «БелАЗ-540». От старой, мазовской модели осталось совсем немного. Он иначе смотрелся; его оснастили пневмогидравлической подвеской, которая обеспечила плавность хода, гарантировала лучшую сохранность машины, улучшила условия труда водителя; в его же, водителя, интересах применили гидравлику в управлении, благоустроили кабину...

Пятьсот сороковым сразу заинтересовались и у нас и за рубежом. А заинтересовавшись, быстро оценили его достоинства. Дважды, из Лейпцига и Пловдива, он возвращался с международных ярмарок с золотыми медалями.

Самосвал проходил государственные испытания, а конструкторы, следя за его успехами на экзаменах, жили следующей машиной — сорокатонником. Опытный образец его изготовили к 50-летию Октябрьской революции, он пришел тогда своим ходом в Минск и участвовал в праздничной демонстрации...

В шестьдесят пятом году завод, не останавливая производства, перешел на серийный выпуск «БелАЗа-540». В Криворожском бассейне доказывал свое право на жизнь и труд «БелАЗ-548 А» грузоподъемностью в сорок тонн. Семейство пополнилось тогда же одноосным тягачом. К братьям-великанам должен был присоединиться и семидесятипятитонный гигант.

Поистине неистощима конструкторская мысль! Кажется, пошла машина, работает, и репутация у нее уже завидная. Нет, конструкторы не останавливаются, ищут, совершенствуют, переделывают. Известно, что при оценке достоинства машины всегда берется в расчет соотношение ее грузо-



Душистый Горошек

Душистый Горошек.
Окрошкой двора
За Горошком Душистым горят:
Белья на веревках цветенье сырое — жасми,
колокольчик, салат...
От солнца и ветра, от дымки лучей
По корявости утренних стен
Оливковый вдруг пробегает пушок,
ну, как будто писал их Шарден!

Душистый Горошек... Невидимых кошек
прозрачные уши в огне:
У «кошкных ушек» (как мыши — у кошек!)
Мышиный Горошек в цене.
Да вот и Мышиный; зацепит вершинной
за грабли и рвется, треща,
Как волос, под зубьями гребня искрящий;
как рвущийся ворот плаща...

Душистый Горошек! Дешевая роскошь!
Весны королевич босой!
Цветущая иллюминация плоских, снимающих
только росой...
Таниственный, вещный, нахмуренный бархат
Тех курток и воротничков,
Который так гордо (но впроголодь) носят
Художники многих веков...

Душистый Горошек в улиткиных рожах...
Еще не упрочился зной,
Так что же стрекочет Мышиный Горошек,
как волосы перед грозой!
И мнится: в беретях,

в потертых вельветах,
с единой морщиною лба,

Шумя, надвигается к нам с горизонта
художников вольных толпа...
...Дыханьем себя обнаружил плесень,
Пахнуло испуганно мхом...

Душистый Горошек — веселый Гаврошк! —
сидит на заборе

верхом,
Кричит петухом, рассыпая остроты
и черствую корку жуя,
Да так, что, собрав лепестки и переносью,
дрожит георгии-буржуа!

Душистый Горошек — из племени Крошек,
бедняк, постреленок, гамен,
Хочочет, из пальчиков делает рожки при свете
оливковых стен,
Кричит петухом, и мяучит котом, и старинную
корку грызет,
А толпы художников

бархатом курток
уже облекли горизонт.

Я жду их!
Ужели пройдут стороною
художники!
Жду их давно!

Слезу, как за роцями кисти ломают, как
на небе рвут полотно,
Как спорят про цвет лепестков унесенных...
[Любое искусство — бой.
Читай: не бывает громов унисонных и молний,
согласных с тобой.]
...И вновь прозорливое небо раскрылось,
метнув испытующий свет
На пух, поваливший с ветвей тополных,
на бархатцев мокрых вельвет...
О громе шагов,
О дороге,
О школе
Художников я говорю:
Продрогшие в поле,
рожденные в споре,
Придут, — не обманут зарю!

Должна в кармане

Листовички ли, или полевички,
Подобно заговору и сглазу,
Определяют мои привычки!
А я не видела их ни разу.

Какне эльфы, какие тролли
Следят за мною, а я не знаю!
Но в принудительном ореоле
Меня замкнула среда лесная.

О своеволье! От моего ли
Честного имени где-то в поле
Под шумом тут же растущей люти
Они в любые пускаются плутни!

Мешая пчелам, как репортеры
Цветов; как нищие (нет, как воры)!

Они, повсюду снимая пробу,
Ссылаются... на мою особу!

У них для жадности нет оснований
[Щедра природа: берн — не надо],
Однако... в каждом моем кармане
Всегда устроят подобье склада!

То не они ли по огородам
С календарями колядовали!
Но все четыре времени года
В моих карманах пребывали!

Зимою — вдруг! — изымаю льдину
Дюймовочную... Да прутик голый...
Весной — подтаивший шелк жасмина,
Орех зеленый, орех веселый...

Горячим летом — стручок гороха.
«Жильцы эфира едят неплохо!»,
А поздней осенью — лист опавший,
Который тжече
И легче вздоха...

Языки снега

С той стороны, откуда шли метели,
Таща колючугу с дремлющей реки,
К подножиям деревьев приютели
Взбегающего снега языки.

Коры струится трещина кривая,
Где, застывая, снег застаревал,
Как будто прилила, не отливая,
Волна морская к выбоннам скал.

Как будто лад прилива и отлива
Расстроил пены взвнявшийся язык:
Остановился на стене обрыва
И к бытию отвесному
Привык.



Рисунки Веннамина КОСТИЦЫНА

подъемности и собственного веса. Чем больше
разница, тем выгоднее автомобиль. Жодинские
конструкторы сбрасывали вес «БелАЗов» от моде-
ли к модели. Двадцатисемитонник весит 21 тонну,
то есть разница между грузоподъемностью и соб-
ственным весом шесть тонн, а у следующей моде-
ли она уже четырнадцать тонн, у следующей —
двадцать семь. Сколько вариантов компоновок уз-
лов, систем подвески прошло через конструктор-
ские умы и руки! А сколько билось над тем, чтоб
решить, кажется, простую, а на самом деле
очень сложную задачу — не дать колесам и под-
веске почувствовать разницу между пустым и на-
груженным кузовом! А сколько понадобилось
творческой смелости и как пригодились конструктор-
ская зрелость, когда изобретали «колесо-мо-
тор»! Убедившись, что даже мощнейшему двига-
телю не под силу вращать четыре исполинских
колеса, в конструкторском бюро выносили схему:
двигатель — генератор — мотор — колесо!

— Ну, а сейчас на какой орбите ваши мысли? —
спрашиваю заместителя главного конструктора
Генриха Ивановича Терновского.

— Все на той же. Только размах другой — с
учетом достижений научно-технического прогресса
и с учетом того, что в следующей пятилетке
завод должен подвергнуться реконструкции, наде-
емся, появится у нас наконец солидная экспери-
ментальная база. Продолжаем, да, да, все про-
должаем совершенствовать конструкцию двад-
цатисеми- и сорокатонников. Спрос на них огром-
ный, их еще выпускать и выпускать... Думаем над
конструкцией ставоскандинавского самосвала,
отрабатываем его технический проект... Ну и, ра-
зумеем, забрасываем мысль в более отдаленное

будущее, а там уже силуэт машины, которая по-
везет двести сорок или двести пятьдесят тонн...
Уйма проблем. Правда, многие не зависят от нас,
нужен добротный двигатель мощностью в две-
две тысячи триста лошадиных сил, нужны каче-
ственно новые покрывки, более совершенное
электрооборудование... Наше семейство очень
требовательное. Однако есть смысл удовлетворять
все его запросы. Оно трудом оплатит их. Вернее,
уже оплачивает.

...Заводу повезло с конструкторами.

БРИГАДА

На кого похож этот парень, демобилизованный
солдат? Вот на кого: таким бригадир Иван Залев-
ский представлял себе Григория Мелехова из
«Тихого Дона». Сильные руки, умные глаза и
прическа, чем-то напоминающая лихие казачьи
чубы.

— Хочу к тебе в бригаду.

— Я тоже, между прочим, из армии пришел.
Так что судьбы у нас схожие. Не заскучаешь в
цехе?

— Ты же не скукаешь...

Николай Богданец быстро прижился в бригаде
Залева. Бригадир никогда не размышлял о
своих педагогических способностях, однако заме-
чал, что любит возиться с новичками, и радовался,
когда видел, как ребята набирают настоящий
рабочий вес, обретают мастеровую солидность,
которая приходит к людям, создающим самые
главные ценности в жизни.

До Богданца был Василий Коваль. Тот пришел в
бригаду из профтехучилища. Пришел с четвертым

разрядом. Делал все чисто, правильно, но никак
не мог втянуться в цеховой ритм — в училище
норм не давали, никто не торопил, важно было
выполнить задание. А тут надо жить под диктов-
ку плана. Залевскому пришлось повозиться с го-
нористым парнишкой. Тот капризничал, щетинил-
ся, злился. А бригадир, приучая его укладываться
во время, терпеливо давил на самолюбие: неужели
с самим собой не справишься? Постепенно Ко-
валь входил в бригадный ритм, все меньше и
меньше требовал к себе внимания. И бригадир
нет-нет да ловил себя на мысли, что чего-то не
хватает ему в бригадирской нагрузке. Не хватало
возни с новичками.

Теперь он взял шефство над Богданцем, кото-
рый поступил в вечернюю школу и на разряд
сдал не через три месяца, как полагаются, а рань-
ше. Окончив в этом году школу, Богданец получил
аттестат, а из рук бригадира подарок — книги из
личной библиотеки «Тонарное дело» и «Техноло-
гия металла».

— Читай, готовься. Разряд повышать пора. Пока
в школе занимался, я на тебя не жал. Теперь не
отстану.

— Дух бы перевести дал. Школа, думаешь,
легко прилась?

Вместо ответа бригадир рассказал про Якова
Федоровича Баушева, начальника цеха трансмис-
сий. Открылся в Жодине техникум — в первом вы-
пуске Баушев. Открылся филиал политехническо-
го института — в первом выпуске опять Баушев.
Жену он убедил поступить в Белорусский инсти-
тут народного хозяйства. В цехе шутят: у Бауше-
вых в доме непрерывный учебный процесс.

У Залева давно появился интерес к тому,



МОЛОДЫЕ СТАНОЧНИКИ БЕРЕГУТ КАЖДУЮ РАБОЧУЮ МИНУТУ.

как растут люди на заводе. Задавали здесь тон такие, для которых учеба, совершенствование — естественная потребность.

Старшина-танкист Иван Сидорович после демобилизации поступил слесарем на Минский автозавод. Вырос до технолога, начальника цеха, а переехав в Жодино, окончил политехнический. Был начальником ОТК, стал директором завода. Защитил диссертацию. Сейчас начальник Главка Министерства автомобильной промышленности Союза.

Будто след в след за ним шел нынешний директор Николай Матвеевич Усаньков. Слесарь-сборщик, заочник института народного хозяйства, начальник главного конвейера, начальник производственного отдела, директор предприятия.

У бригадира нет зависти к таким судьбам. Просто хочется подражать, научиться жить вот так, чтобы всегда на пределе, на полных оборотах.

...Поначалу уплотнительные кольца для гидроагрегатов обрабатывали два токаря, каждый сам по себе. Иван рассудил: если объединиться в бригаду, скорее внедришь передовое, поднимется организованность, легче передавать опыт... Сoglасились. Бригадиром назначили его, Залевского.

Комсомольско-молодежная бригада, которой он руководит, трудится напряженно, здесь всегда думают о том, как сработать лучше, как сэкономить сырье, внести новое в производственный процесс.

Фторопласт, который идет на кольца, — очень дорогой материал. Иван говорит ребятам:

— Я чем особенно дорожу? Научился любой материал чувствовать. Фторопласт, он с характером.

На два-три градуса нагревается, и уже одна, а то и две десятых миллиметра разница, а допуск — всего шесть сотых миллиметра... Вот и соображайте!

Коля Богданец, Володя Сагалович соображают, стараются ювелирно, как бригадир, выполнять операции — и обточку, и нарезку фасонных канавок, и расточку. А он ведет их дальше, к рационализации.

Сам бригадир еще во втором году пятилетки приобщился к этому трудному делу, предложив пересогласовать для цилиндра опрокидывающего механизма поставку колец. Посчитали экономно — три тысячи в год. Рационализация стала здесь повседневным делом. Сейчас бригада готовит следующее предложение: отлить заготовки колец в пресс-формы, изготовленные здесь же, в Жодине, и уменьшить еще припуск по высоте.

У бригады много наград, реликвий... В прошлом году наградили орденом Трудового Красного Знамени бригадира. А в нынешнем сфотографировали у Знамени Победы группкомсорга бригады Николая Богданца.

Возле станков, на стенде, почетные грамоты: «Комсомольско-молодежной бригаде токарей цеха гидроагрегатов, занявшей I место в социалистическом соревновании комсомольско-молодежных коллективов в честь присвоения комсомолу имени В. И. Ленина» и «За II место в соревновании за успешное выполнение заданий третьего, решающего года девятой пятилетки». Тут же, на стенде, обязательства навстречу XXV съезду КПСС.

Бригада включила в свой состав погибшего в годы войны Героя Советского Союза Петра Куприянова, уроженца Жодина, и выполняет его норму.

Хорошо идет у ребят пятилетка. Но еще важнее, что бригада Залевского — лишь одна из лучших на БелАЗе, но далеко не единственная.

ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР

Одна за другой сходят мощные машины с главного заводского конвейера, чтобы отправиться на стройки пятилетки. В этой непрерывной череде — труд многоликого коллектива, каждый год принимающего в свои ряды сотни молодых рабочих. Они приходят на завод ершистыми и наивными, любознательными и доверчивыми, запрограммируют новичка на полную и четкую отдачу, он и пойдет по жизни тружеником, хозяином, как Иван Залевский, как Николай Богданец, именно об этом думают в заводском комитете комсомола, поднимая ребят на борьбу за качество, на сдачу Ленинского зачета, на спортивные состязания, думают всегда и особенно сейчас, когда идет обмен комсомольских билетов. Приобщение к заводской жизни — процесс многогранный, он требует разнообразия форм воспитания. Одной из удачных на предприятии считают «дни молодого рабочего». Два раза в месяц. Еще поездки и экскурсии в Минск, вечера вопросов и ответов, в которых принимают участие ветераны завода, начальники цехов, работники заводоуправления, юристы...



*ЧЕТКАЯ ЛИНИЯ
КОНВЕЙЕРА.
НЕПРЕРЫВНЫЙ
РИТМ РАБОТЫ...*



ИДЕТ СБОРКА.

*МЕХАНИЗАЦИЯ —
В ДЕЙСТВИИ.*



А потом молодежь втягивают в общественную работу, в конкурсы профессионального мастерства, в соревнование на звание лучшей комсомольско-молодежной бригады завода. Самые деятельные попадают в советы молодых рабочих, в комсомольские бюро. И растут.

Так вот действует на заводе главный конвейер. Не тот, где собирают «БелАЗы». А тот, где формируется основная сила предприятия, его вечный двигатель — рабочий класс. И каждому, кто закрепился в строю, время от времени напоминают, что директор завода тоже начинал в цехе, на рабочем месте.

...Завершает большую пятилетку БелАЗ. Перекрыта проектная мощность завода. Все последние годы в соревновании внутри отрасли у жодинцев первое или второе место. Новая пятилетка сулит заманчивые перспективы. Вдвое примерно должен увеличиться объем производства, пойдут в серийное производство семидесятипятитонники, возрастет выпуск машин прежних моделей.

БелАЗ готов принять старт десятой пятилетки.

Их было трое. Три девочки, три подружки, три студенточки. Одну звали Верой, другую — Любовью, третью — Надеей. И приехали они в Москву из одного города, из одного маленького ситцевого городка, где они родились двадцать лет назад, ходили в школу, влюблялись в мальчишек, в лихих, бесшабашных мальчишек, и сидели с ними над Волгой до рассветов, до голубых рассветов, до красных рассветов, таких красных и таких голубых, как ситцы текстильной фабрики, на которую они пришли после школы.

Все трое мечтали поступить в институт, стать инженерами-экономистами, вернуться на производство, решать серьезные и сложные производственные задачи, которые будут им по силам и по душе. Все трое мечтали встретить в жизни любовь, прекрасную любовь, высокую любовь, пронести ее через годы — ее одну. Все трое хотели быть счастливыми, очень счастливыми, но чтобы всем счастья поровну. А красота? Да они и так были красивыми, каждая по-своему, и не было человека, который не оглянулся бы, когда втроем они шли по улице, не улыбнулся бы радостно: ах, девочки, как же вы хороши!

И все у них пока шло отлично, и на работе они были не из последних, и в экономический институт поступили без осечки, и учились легко, и общественной работой успевали заниматься, и любили их однокурсники, и в общежитии их комната считалась самой веселой и самой уютной.

Вот так они и жили-поживали — Вера, Надя и Люба, — и верили друг другу, и надеялись друг на друга, и любили друг дружку, и, казалось, дружбе их не будет конца. Да разве может такое случиться в милой сказке, в счастливой сказке про Веру, Надежду и Любовь? Нет, конечно, кто спорит?

Но в жизни, к сожалению, не все происходит так, как нам хочется.

Почему она не остается с нами на всю жизнь — юношеская ясность, счастливая бескомпромиссность, когда путь впереди чист и прям, а друзья — верны и открыты, и белое — ангельски бело, а черное — черней не придумать? Почему с возрастом, с опытом приходят к нам оттенки, приходят полутона, и путь впереди уже не кажется слишком прямым и ровным, уже и повороты видны, и колдобины предполагаются, и белое не везде бело, и на черном появляются заплатки другого цвета? Почему мы становимся чуть более скрытными и неверяем друзьям в с е х наших тайн — малых и больших? Почему наше счастье — это часто лишь наше счастье, и мы не хотим подпускать никого к нему?

Почему, почему... Бессмысленные вопросы и наивные сожаления! Мы вырастаем, взрослеем, и эти самые полутона и оттенки — знаки зрелости, знаки разумности, без которых нас тут же обвинят в «нелепости и вредной инфантильности», а это обвинение так страшно нам, взрослым...

Бедные-бедные взрослые! Все-то им страшно, всюду они осторожничают, всюду раздумывают — там, где юность идет напрямик, без долгих колебаний.

Зря без колебаний? А может, не зря?..

Так или иначе, но наши подружки уже не были восторженными и наивными девочками, какими они пришли в институт. Да что там говорить: третий курс не первый, сравнить трудно, совсем другая жизнь. У Веры появился некто Володя, рыжий баскетболист с пятого курса, элегантный Володя, отличный центровой, который тем не менее считал, что баскетбол — дело временное, а главное — наука, и хотел работать в каком-



Человек среди людей

нибудь большом научно-производственном объединении, где вопросы экономики — одни из главнейших, где экономисты — нужные люди. И вот уже Вера стала меньше вспоминать о своем маленьком городе и об их фабрике, и стала подумывать о большой науке, и «заболела» баскетболом, и в общежитие приходила поздно, и потом долго стояла у окна, уговаривала Володю идти домой, а не вытаптывать газон.

Да и Надя что-то перестала говорить об их школьной мечте, училась, впрочем, ровненько, без срывов, звезд в учении не хватало, но в институте слыла человеком заметным: солировала в студенческом эстрадном оркестре, дважды выступала по телевидению и уже подумывала всерьез о карьере эстрадной певицы. Однако эстрада эстрадой, а институт надо заканчивать, это она прекрасно понимала и сдавала экзамены, делала вече-

ра между оркестром и библиотекой, по ночам считала курсовые, тем более, что Вера, как мы уже знаем, появлялась дома позднехонько, и Люба тоже не часто баловала общежитие своим присутствием.

А что Люба? Как она нынче поживает — самая красивая, самая деловая, самая решительная из подружек? Как учится, с кем дружит, чем увлекается, где пропадает, в каких таких палестинах искать нам ее? Не знаем, ничего мы про Любушку не знаем. Да что там мы! И для Веры с Надеей, для подружек ее закадычных, жизнь Любы с некоторых пор стала непонятной и даже загадочной.

— Где ты была? — спрашивала ее строгая Вера.

— Какая разница? — отвечала она. — Где была, там уж нет меня.

— А на лекции почему не ходишь? Сессия на носу.

— Ах, девочки, девочки! — Люба вытягивалась на постели, закрывала глаза, блаженствовала. — Что лекции? Капля в океане информации. Разве нашьешься ею?

— Демагогия! — злилась Вера, сжимала кулачки. — О чем ты думала, когда шла в институт?

— А я не думала, я просто шла и шла...

— Скажите, пожалуйста, какая безответная мышка! И куда же ты так прийти собираешься?

— А вот это уже мое дело. — Люба садилась, смотрела на кипящую от негодования Веру, смеялась вроде бы весело, легко, а глаза стояли холодными голубыми озерцами, ледышки — не глаза. — Ты за меня не волнуйся, ты о своем Володечке поразмысли. Говорят, он «пару» по экономике сколотил.

И Вера ойкала испуганно, бежала к телефону, звонила Володе, который и вправду сдавал досрочно экзамен по экономике, и выясняла, что никакой «пары» он не хватал, а всего лишь на «четверку» не согласился, попросил разрешения подучить и пересдать. Выясняла она все это, радовалась, успокаивалась, а когда возвращалась в комнату, то и спорить с Любовью не хотелось, хорошее настроение жалело. Да и не было в комнате Любы, уже умчалась она куда-то, оставив после себя запах страшных духов, тонких и легких духов с красивым названием «Дюориссимо».

— Ну что ты с ней сделаешь? — горевала Вера.

А добрая Надя успокаивала подружку:

— Ничего и не делай. Не трогай Любуку, ей и без твоих правочений не сладко.

— С чего ты взяла?

— С потолка. Ты, Верка, судишь-судишь, а человека не видишь. Она же вся в напряжении, будто струночка в ней натянута, вот-вот лопнет. Что-то ее мучает, ох, как мучает...

— Так пусть поделится с нами. Подруги мы или нет?

Ах, не понимала Вера, не хотела понимать, что не было больше трех славных девчонок, трех подружек — таких, какими уезжали они из своего городка. Да и сама она стала другой — может, лучше, а может, хуже, не суть важно, — только не признавалась себе в том, держалась за былое. А где оно, былое? Было, было... А есть три мира, три самостоятельных мира, со своими заботами, со своими интересами, со своими бедами, наконец. И нельзя врывать в такой мир, нельзя взламывать его, нельзя требовать откровенности, можно лишь ожидать ее, завоевывать исподволь, не нахрапом. Видно, позже придет к Вере понимание этой хитрой истины, а пока...

— Захочет — поделится, — отвечала ей Надя. — Она же всегда все сама решала, будто ты Любуку не знаешь.

И Вера терпела пару дней, крешась изо всех сил, не приставала к Любе с вопросами да с поучениями, но потом не выдерживала, снова подступалась к подруге, а та опять отшучивалась, говорила злые банальности, посмеивалась, уходила. И опять «всехняя мама» Надя успокаивала Веру, а та плакала от бессилия понять: что же происходит, почему ее советы — разумные! разумные! — идут впустую, почему толковая девушка Люба не принимает их, даже слушать не хочет, замыкается в себе, не подпускает никого.

А однажды пришел Володя и сказал, что видел Любу в ресторане.

— Ну и что здесь криминально? — заинтересовалась Надя.

— Сам-то ты как там очутился? — спросила Вера.

Друг Володи, аспирант, а ныне кандидат экономических наук, праздновал в «Советской» успешную защиту диссертации, позвал самых близких друзей. Володя сидел в углу, блюл спортивный режим, мучился с боржомом, посматривал по сторонам. Он обратил внимание на странную компанию в дальнем конце зала: пожилые мужчины, сильно молодящиеся дамы — они вели себя не по возрасту шумно, с таким ухарским надиром. Орала песни, юркий официант таскал туда бесцельные бутылки коньяка, а некий аполексический старичок, взгромоздившись на стул, призывал всех сидящих в зале выпить за любовь.

— Выпили? — спросила Вера.
— Не отказались, — засмеялся Володя. — Отчего ж не потрафить старичку.

— А Люба здесь при чем?
— Так она с ними была. Даже странно: она там всем в дочки годилась, а кое-кому — и во внученьки.

Что ж, это был повод для Веры нарушить данное Наде обещание. В тот же вечер она потребовала от Любы объяснений: зачем? кто такие? почему?

Как ни странно, но Люба смутилась на секунду, даже с ответом замешкалась. Потом взяла себя в руки, спросила:

— Откуда вы знаете?
— Володя тебя видел.

— Ну, пострел, — усмехнулась Люба, и странная злость была в ее усмешке, даже Надя удивленно на нее посмотрела, но смолчала по обыкновению. — Так, одна компания. — Люба снова стала сама собой: чуть ироничной, вальяжной. — Шапочное знакомство.

— Кто такие? — допрашивала Вера.

— Да я всех и не знаю. Кто-то — из торговли, кто-то — из науки. С борю по сосенке.

— А ты как туда попала?
— Случайно.
— А все-таки?

— Я же сказала: случайно. Что-нибудь еще?

Казалось, Вера затронула самую болезную тему: Люба и тон переменяла, говорила сухо, сквозь зубы. Тут даже Вера смешалась, спросила жалобно:

— Чего ты заишься?
— Не люблю, когда кто-то вмешивается в мою жизнь, — отчеканила Люба.

— Выходит, мы с Надькой — «кто-то»?

— Думай, как хочешь. — Схватила сумочку, хлопнула дверью так, что даже штукатурка посыпалась.

Вера присела на корточки, уткнулась в Надины колени, заплакала по-бабьи, в голос, запричитала:

— Что ж мы ей плохого сделали, Надюха, милая, ведь мы любим ее, а она... Ну, может, я дура, может, правда, лезу не в свои дела, но она-то знает нас, знает, что любим ее... Нет, ну как же...

И добрая Надя, мудрая женщина Надя глядела по-мальчишески стриженную голову подруги, смотрела в окно, молчала, не знала, что сказать.

А на следующий день Веру вызвали в деканат и сообщили, что Люба забрала документы из института.

Она пришла вечером, швырнула сумочку на подоконник, сбросила туфли, села на постель по-турецки, подперла кулаками подбородок.

— Ну, девочки, не помнящие лихом: выхожу замуж.

Девочки охнули от неожиданности, бросились на Любку, повалили ее, затормошили, даже думать запомнили о ее уходе из института: все на миг вытеснило это радостное известие.

— За кого, за кого? — кричала Вера, колотила ладошками по одеялу, подпрыгивала на кровати. И даже всегда сдержанная Надя забыла о своей неторопливой солидности, смеялась радостно, ловила Веру за юбку, пыталась остановить:

— Сумасшедшая, кровать ломаешь, комендант убьет.

— Ну, хватит восторгов. — Люба вырвалась, встала. — Свадьба — в субботу за городом, на даче. Давайте договоримся: приедете на свадьбу, все увидите, все узнаете. А до того никаких вопросов. И об институте не надо. Потом. Ладно?

— Как хочешь. — Вера даже понравилась такая таинственность, а Надя спросила тихонько:

— Ты счастлива, Любка?
Люба посмотрела на нее как-то странно, с усмешкой, сказала скороговоркой:

— Счастлива, счастлива, как же иначе. — И добавила: — Ужинать давайте. Голодна — слона съем.

Вера заснула сразу, как погасили свет, чмокала во сне губами, сопела в подушку. Надя лежала без сна, улыбаясь про себя, и вдруг услышала, что Люба всхлипывает. Она вскопчила, пробежала босиком по холодному полу, села к подруге:

— Что с тобой?
Люба резко отвернулась к стене, сказала хрипло:

— Ничего. Это я так просто. Ты спи, Надюшка, спи, завтра вставать рано.

...Стоит ли долго рассказывать о свадьбе? Взлетали качели — дубовая доска на крепких веревках: вверх-вниз, вверх-вниз! Качалась земля под доской-ладьей: вверх-вниз! Звенела чешским хрусталем майская Малаховка: горько, горько!

Ах, какой дом, какие хоромы будут у простой девочки Любушки: двухэтажные, с двумя верандами. А какие ковры в хоромках, какая мебель, какие картины на стенах! И вишневая «Волга» у крыльца, украшенная лентами и цветами, — своя, своя! И черное полированное озеро дорогого рояля в гостиной — заvidуй, Надька! И сосновый лес на участке в полгектара — не заблудись с похмелья!

Стоит ли долго рассказывать о свадьбе? Стоит ли, если взлетают качели и качается земля под ними: голова бы не закружилась...

...Вера потихоньку выбралась из-за стола, отмахнулась от пожилого толстяка, от соседа, от кавалера свадебного: «Куда же вы, Верочка?» — пробежала по комнатам, хлопнула дверью веранды. Скинула выходные туфельки, пошла по колючей от сосновых иголок земле босиком — как в детстве, как по-над Волгой, дома. В глубине сада за молоденьким ельником нашла Надю. Она сидела прямо на траве, подтянув колени к подбородку и положив на них голову, смотрела куда-то, молчала. Вера тоже молча села рядом, обняла подругу, потом не выдержала, спросила тихонько:

— Что же это, Наденька?
А та повернула к ней лицо, и Вера увидела, что оно мокро от слез,

изумилась: Надя, Наденька, где же твоя вседневная выдержка?

— Вот все и кончилось, Верочка, — сказала Надя. — Была у нас подруга, и нет ее. Не добраться теперь до нее.

— И не надо. Не велика потеря.

Надя улыбнулась: сколько еще детского в Вере, сколько непримиримости, безапелляционности! Когда все это пройдет? Когда повзрослеет Верка? И сама себя оборвала: пусть не взрослеет. Пусть подольше остается такой. Трудно жить будет? Зато не упрекнет себя никогда: отступила, мол, сдала позиции, примирилась с подлостью, простила трусость. Да и ей самой, Наде, легко с подругой: себя, свои чувства, мысли свои ее чистотой поверять, не ошибиться.

— А потеря-то велика, ох, как велика! Нас ведь трое было...

— Будет двое.
— Хороните, подруженьки?

Надя и Вера обернулись. Сзади стояла Люба, улыбалась одними губами, а глаза опять холодели ледышками.

— Не хороним, — спокойно сказала Надя, — прощаемся. Садись с нами, Люба, если платье запачкать не боишься. Там тебя не хватятся?

— Перебьются. — Люба села рядом, оправдала длинное свадебное платье, блеснула перстеньком на безымянном пальце.

— Подарок? — кивнула на него Надя.

— Подарок. — Люба вытянула руку. — Бриллиант. Шесть каратов. Работа мужа.

— Красиво.
— Еще бы. Он один из лучших мастеров-ювелиров. От заказчиков отбой нет.

— Это заметно.

— А ты не язви, не язви. Здесь ничего ворованного нет. Не придерешься. Все заработано честно. От фининспекторов бежать не приходится.

— Это хорошо. Тут тебе твоя специальность и пригодится. — Это уж Вера не выдержала, вставила реплику.

— Как это? — не поняла Люба.
— Доходы считать. Знала бы — счета в подарок принесла.

Люба засмеялась весело, будто и не задела ее злая издевка.

— Так не поздно еще. Подари, рада буу.

— По почте пришлю.
— Что так? Или не зайдешь больше к подруге?

— Боязно.
— Чего?
— Мужа твоего побавнаюсь.

— А он не кусается.
— Зубов нет?
— Вера! — не стерпела Надя, одернула ее.

— Не мешай ей, — опять-таки улыбаясь, сказала Люба, — пусть дите выговорится. Ей же возраст мужа знать хочется, зудит у нее. Скажу, скажу, Верочка, скрывать нечего. Мне двадцать один годик, ему на тридцать с хвостиком больше.

— Значит, поживет еще.
— А я его не хоронить собираюсь, я с ним жить задумала.

— Думала-то хорошо?
— Пока не жалуюсь.

— То-то и оно, что пока, — вмешалась Надя, встала, отряхнула иголки с юбки. — Ты хоть любишь его? Ну, самую чуточку?

Люба тоже встала, будто и вправду прощаться собралась — гостеприимная хозяйка большого дома.

— О чем ты, Наденька? Я его уважаю, а любить — это в книжках для среднего и старшего школьного возраста.

— Жаль мне тебя, — сказала Надя, — да только ты сама всего этого захотела. — Она повела рукой по сторонам. — Богатое хозяйство у тебя. Справишься?

— Справлюсь.

— Успеха тебе. Прости, что не счастья желаю.

Из дома, наглухо скрытого соснами и елями, раздались голоса:

— Люба, Любушка, хозяйка, ау!

Вера взяла Надю за руку — ну, как раньше, как в детстве. Сказала с насмешкой:

— Тебя зовут, хозяйка. Спешит, — потянула Надю, пошла по-прежнему босиком к калитке, решительно, не оборачиваясь.

Они уже почти дошли до калитки, когда Люба крикнула сзади:

— Девочки, подождите!..

Она шагнула к ним, взялась руками за горло, словно что-то давило ее, не давало вздохнуть, но из дома снова крикнули: «Люба! Люба!» — и она бессильно опустила руки, остановилась, только смотрела вслед подругам, долго-долго смотрела, пока не скрылись они за поворотом к станции...

Вот, пожалуй, и все, что я узнал об истории трех подруг, одну из которых зовут Верой, другую — Надеждой, а третью — Любовью. Когда Володя, друг (я пока не рискну назвать его иначе) Веры, рассказывал мне о них, об их старой мечте, об их дружбе, о свадьбе этой рассказывал, так он даже удивился, неожиданно подметив нелепую странность:

— Смотрите, как не по адресу имя-то подалось — Любовь...

— А остальные — по адресу?

— Наверно, да. Только разве в имени дело?

Тут он был прав: не в имени. В характере. В личности.

— А характер у Любки сильный, — сказал Володя. — Ведь на что решилась: продать себя. Задорого, не продать. — Он помолчал, подумал, добавил нерешительно: — А вообще-то она девчонка неплохая, добрая, только несчастная. Из-за характера и несчастья. Мы о ней с самой свадьбы ничего не слышали: не звонит, не появляется, тоже характер проявляет. А ведь хочется, наверняка хочется увидеть подруг.

— А им?

— Им тоже. Только молчат они. Верка — та до сих пор кипит, а Надя ее остужает. Общим горько: они же ее любят, хотя и предала она дружбу.

— А может, вернется?

— Вернется? — Володя отрицательно покачал головой. — Ну, нет. Мы же не зря ее характер вспомнили. Она свою партию на десять ходов вперед продумывает. И фигур обратно не берет. Да что мы все о ней да о ней? Хотите пойти к нам в клуб? Там сегодня наш оркестр выступает и Надежда петь будет.

Я хотел. Мы — Володя, Вера и я — сидели в первом ряду перед самой эстрадой, так, что приходилось задрать вверх голову, чтобы увидеть Надю.

Она вышла на сцену в длинном цветастом платье с широкими рукавами («Сама спила», — шепнула Вера), взяла микрофон с подставки, запела тихонько.

«Выходит замуж молодость, — пела Надя, и чуть слышно аккомпанировал ей саксофон, и металлическая щетка ударника едва касалась инструмента. — Не за кого, за что. Себя ломает молодость, — пела Надя, и голос ее — не сильный, но чистый, — шел по залу, — за модное манто, за золотые горы и в серебре виски...»

Она пела о богатой свадьбе, о веселом гулянье, о разбитой на счастье посуде, о толенькой невесте в белом, почти нереальном платье, о счастливой невесте, о несчастной невесте.

О Любке она пела, о Любке! Иначе почему Вера стиснула платок в кулаке, подалась вперед, шевелила губами, повторяя за Надей слова песни: «Где пьют, там и льют. Слезы, слезы, слезы льют».

Юрий ПРОКУШЕВ



«ХОЧУ Я БЫТЬ ПЕВЦОМ И Г

Вот один из моих аспирантов. Любит и знает хорошо романы Толстого, но не скрою от вас, Софья Андреевна, главное увлечение его — поэзия, стихи Маяковского, Блока, Есенина... Пришел ко мне на консультацию.

Так, как всегда, очень тактично, с хорошей, доброй улыбкой мой научный руководитель Константин Николаевич Ломунов, ныне известный толстовед, доктор, профессор, а тогда, в сорок девятом году, ученый секретарь музея Льва Толстого, представил меня вучке великого писателя — директору музея. Мы находились в ее небольшом, уютном кабинете...

Вы спросите: при чем тут внучка Толстого? Какая может быть связь между встречей с ней и Есениным? Самая прямая! Софья Андреевна Толстая была женой Сергея Александровича Есенина в последний год его жизни. При ней Есенин готовил к изданию свое собрание сочинений. Она активно помогала ему. После смерти поэта Софья Андреевна отдала много сил увековечиванию его памяти. Вместе с сестрой Есенина Екатериной Александровной она сумела собрать воедино значительную часть есенинского архива. Позднее она написала комментарий к стихам и поэмам Есенина, которым в настоящее время широко пользуются исследователи творчества поэта. Тогда же Софья Андреевна составила очень умно и точно небольшой томик Есенина.

— Не сразу удалось мне напечатать этот томик, — рассказывала мне позднее Софья Андреевна. — Я никак не могла пробиться в издательство. В конце концов я решила пойти к Калинин. Я помнила, с какой теплотой говорил мне Сергей о встрече с Калининным на родине Михаила Ивановича, в Тверском крае. Калинин меня принял хорошо. Живое интересовался делами толстовского музея. Во время беседы я сказала Михаилу Ивановичу, что никак не могу задать стихи моего мужа — поэта Сергея Есенина. Он задумался, долго молчал, словно что-то вспоминая, а возможно, что-то решая для себя в эти минуты... Потом посмотрел на меня «заговорщицки» и как-то очень по-доброму сказал: «Не унывайте! Есенина будут издавать». Радостно мне было услышать от Михаила Ивановича и то, что он, Калинин, лично Есенина, его стихи любил всегда и полагает, что современным нашим поэтам есть чему у Есенина поучиться. Михаил Иванович оказался прав, — продолжала Софья Андреевна. — Через некоторое время, в сороковом году, вышел сборник Есенина с вступительной статьей Александра Дымшица. Мне же мой томик Есенина удалось выпустить лишь после войны, в сорок шестом году.

Правда, напечатать и тогда Есенина директору Издательства художественной литературы Петру Ивановичу Чагину, одному из замечательных бакинских друзей Сергея, — заметила Софья Андреевна, — было далеко не просто. Страна только что

вышла из тяжелой войны. Много было других неотложных забот. Вновь помог Михаил Иванович Калинин. Тогда же при его поддержке был решен положительно вопрос о пенсии Татьяне Федоровне — матери поэта.

Да! Какой милый (это было любимое слово Толстой) и какой отзывчивый человек был Михаил Иванович Калинин. И какой мудрый! Настоящий народный президент. — Голос Софьи Андреевны звучал взволнованно и сердечно. — Я всегда буду благодарна ему за Сергея.

Пятьдесят семь тысяч экземпляров — таким тиражом, по тем временам довольно значительным, был издан томик Есенина, подготовленный С. А. Толстой-Есениной. Но... приобрести его в книжных магазинах было почти невозможно. Поэзия Есенина, наполненная великой любовью к родине, к России, всегда была дорога и близка народу...

Как и другие, кому посчастливилось тогда, в сороковые годы, заполучить в руки этот есенинский томик, храню я его с любовью, как первую ласточку многих будущих послевоенных изданий Есенина, тиражи которых в наши дни исчисляются миллионами экземпляров.

После первого знакомства мне посчастливилось неоднократно встречаться, откровенно, по душам беседовать с Софьей Андреевной и в музее и у нее дома, в Померанцевом переулке. В одной из комнат этой большой квартиры жил несколько месяцев Сергей Есенин. Отсюда в конце декабря двадцать пятого года

он уехал в Ленинград. Еще седьмого декабря он направил одному из своих ленинградских знакомых — молодому поэту Эрлиху — телеграмму с просьбой подыскать «две-три комнаты». Эрлих не сумел найти не только «двух-трех», но и одной комнаты. Есенин остановился в гостинице «Англетер». Там трагически оборвалась жизнь поэта...

Со временем Софья Андреевна Толстая познакомила меня со своим архивом. Прозвучало это вот при каких обстоятельствах.

— Я прочитала и «Литературную Рязань» и «День поэзии». И хорошо вижу, куда вы, Юрий Львович, стучитесь. По сути дела, ведь впервые за все эти годы, после смерти Есенина, о нем публикуется так много новых материалов. Думаю, что они заставят взглянуть на Есенина, его жизнь и творчество, по-иному, — заметила Софья Андреевна в одну из наших встреч, в конце пятидесяти пятого года.

— Нет, вы не зря проводили время в архивах, не зря жили на родине Есенина. Вам удалось увидеть Есенина таким, каким он был на самом деле. То, что вы опубликовали, мне особенно дорого, как память о Сергее, — и ранние его стихи, и чудесная статья Сергея о Брюсове, и его взволнованные письма к Горькому, Чагину, Гале Бениславской, и все остальное... Многое вспомнилось. И наша поездка с Сергеем к его родителям в Константиново, и время, которое мы провели вместе на Кавказе, у бакинских друзей, и мои первые встречи с Есениным.

Рисунки художника
Геннадия НОВОЖИЛОВА



РАЗЖУАНИНОМ»

Несколько минут мы молчали. Я думал о том, как порой просто непостижимо, невероятно складываются людские судьбы.

Крестьянский сын, дед которого помнил крепостное право, а отец испытал на себе все тяготы и невзгоды жизни в беднейшем, малоземельном рязанском крае, — и внучка графа, дед и отец которого владели сотнями крепостных душ, графа, семейная ветвь которого уходит в глубь веков...

Казалось бы, что может быть между ними общего? Ведь их родовые были классово полярны. Не говоря уже о совершенно различных условиях воспитания и жизни в годы детства и юности. И все-таки они встретились! Что это? Простая случайность или парадокс? А может, это символично? И им самой историей России суждено было встретиться: поэту «золотой бревенчатой избы», которого всегда «томила, мучила и жгла» судьба крестьянской Руси, всегда волновало ее прошлое, настоящее и будущее; и внучке великого писателя, до которого «в русской литературе не было настоящего мужика», и который всегда чувствовал себя заступником «стомялионного русского крестьянства».

Кто знает...
В эти же минуты Софья Андреевна, вероятно, вспомнила особенно дорогие и незабываемые для нее страницы короткой, трагической жизни Есенина. И, как бы вслух продолжая эти свои воспоминания, она сказала несколько неожиданно для меня:

— Однажды я была со своими литературными друзьями в «Стояле Пегаса». Тогда об этом литературном кафе имажинистов много говорили. Вот мы и решили как-то под вечер отправиться туда. Нам явно повезло: вскоре после нашего прихода стихи начал читать Есенин.

О Есенине, вокруг имени которого уже в те годы стали складываться самые разноречивые «легенды», я слышала до этого. Попадались мне и отдельные его стихи. Но видела я Есенина впервые. Какие он тогда читал стихи, мне трудно сейчас вспомнить. Да и не хочу я фантазировать. К чему это. Память моя навсегда сохраняет с той поры другое: предельную обнаженность души Есенина, незащищенность его сердца...

После «Стояла Пегаса» мне довелось еще несколько раз слышать выступления Есенина, читать в журнале его стихи, статьи о нем. Но личное мое знакомство с ним произошло позднее...

На квартире у Гали Бениславской, в Брюсовском переулке, где одно время жили Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пильняк; вместе с ним пришла я. Нас познакомили. Пильняку куда-то надо было поспешить еще в этот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговорились с Галей Бениславской, с сестрой Сергея Катеи. Наконец я стала собираться.

Было очень поздно. Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве...

Эта встреча и решила мою судьбу. Вскоре Есенин уехал на Кавказ... Через несколько месяцев, весной 1925 года, я вышла за него замуж, а в декабре Сергея Александровича не стало. Что я тогда пережила... Страшно подумать!..

Видно было: даже и теперь, через много лет, Софья Андреевна очень тяжело вспоминать те дни.

— Ведь и я, возможно, по своей молодости, как, к сожалению, и другие, близкие и друзья Сергея, тогда что-то недопоняла, недоглядела. Это так. Нельзя было его одного отпускать в Ленинград, хотя он и настаивал на этом, решительно заявляя, что поедет один. Не уберегли! С каждым годом я все мучительнее и мучительнее думаю об этом.

Я молчал, взволнованный услышанным, понимал, что Софья Андреевна когда-то надо было сказать об этом.

Подумалось и о другом: сколько людей согрелили свои сердца у чудесного поэтического есенинского костра! И как часто они были, к сожалению, невнимательны к Есенину — человеку. Я высказал эти мысли об одиночестве Есенина Софье Андреевне.

— Возможно... Возможно, это и так. Хотя все это непросто, и все это страшно тяжело мне вспоминать, — тихо заметила она. — Но было и то, — голос ее неожиданно зазвучал по-другому, — ради чего стоило и жить, и волноваться, и... страдать. Те неповторимые мгновения, когда на моих глазах «рождались» новые произведения великого поэта России, и мне их посчастливилось слышать первой! «Хочу вам прочитать новую вещь», — часто говорил он. Помню, как еще в начале нашего знакомства, приехав с Кавказа, он пришел ко мне с Иваном Приблудным, принес свои «Персидские мотивы» и читал их всю ночь. Я безумно люблю «Персидские мотивы» Сергея. Когда они вышли отдельным изданием, он мне их подарил с таким веселым, озорным частушечным автографом:

*Милая Соня,
Не дружись с Есениным.
Любись с Сереей.
Ты его любишь.
Он тебя тоже.*

Весной двадцать пятого года, — продолжала Софья Андреевна, — Есенин в журнале «Красная новь» напечатал свою поэму «Анна Снегина». Радостный, он пришел ко мне с номером журнала, еще пахнущим типографской краской. Раскрыл журнал и начал читать:

*Село, значит, наше — Радово,
Дворов почитай — два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места...*

И прочитал... всю поэму. Я сидела, не шелохнувшись. Как он читал! А когда кончил, передавая журнал, сказал, улыбаясь: «Это тебе за твоё терпение и за то, что так хорошо слушала». Я открыла журнал. На странице, где поэма начиналась, сверху рукой Есенина было написано: «Милой Соне. С. Есенин».

Слушать новые вещи Сергея было интересно еще и потому, что он почти всегда в них, как художник и мыслитель, открывался неожиданно, с какой-то совершенно новой стороны, даже для тех, кому казалось, что хорошо знают его поэзию. На самом же деле его поэтический горизонт был безграничен, как сама жизнь. Хорошо помню, — рассказывает Софья Андреевна, — как я была удивлена, когда впервые услышала

от Сергея его стихотворение «Неуютная жидкая лунность...», особенно последние три заключительные строфы:

*Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.*

*Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не
гожусь,
Но и все же хочу я стальнойю
Видеть бедную, нищую Русь.*

*И, внимая моторному лаю,
В сонме вьюг, в сонме бурь
и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных
колес.*

Да, подумала я тогда, как далеко и вместе с тем, казалось бы, совсем неожиданно для него заглядывает Сергей в стальное будущее России. Вот тебе и «последний поэт деревни».

Пробыл я у Софьи Андреевны почти весь день. Когда я собрался уходить и стал прощаться с ней, Софья Андреевна подарила мне фотографию, на которой была снята вместе с Есениным.

— Это вам на добрую память.
«Разрешаю Ю. Л. Прокушеву использовать по своему усмотрению в печати все материалы и фотоснимки, сделанные с моих материалов, касающихся жизни и творчества мужа моего — поэта С. А. Есенина. С. Толстая-Есенина», — прочитал я, к немалому радостному удивлению, на обороте фотографии.

— Это на будущее. Чтобы вы спокойно могли работать с материалами моего архива. — Позднее я не раз с благодарностью вспоминал эту предусмотрительность Софьи Андреевны.

— Меня, — продолжала она, — нынче все чаще тревожат с моим архивом. Желющих много. Но я каждый раз откладывала свое окончательное решение. Все, что касается памяти Есенина, слишком для меня свято. Да и знаю я, что архивный документ можно истолковать по-разному. Все зависит от того, какие руки к нему прикоснутся.

Я молчал. Зная Софью Андреевну не один год, я до этого ни разу даже не пытался заговорить о ее святой святых — есенинском архиве. Что меня удерживало от этого, казалось бы, естественного шага, я и сам не знаю. И вдруг такой неожиданный, счастливый поворот событий.

— Надеюсь, я не ошиблась, — сказала Софья Андреевна, посмотрев на меня долгим, пронизательным, по-толстовски колючим взглядом.

Через несколько дней я вновь появился у Толстой.

— Посмотрите прежде всего эту папку, — сказала мне доверительно Софья Андреевна.

Раскрыв папку, я потерял дар речи. Вы поймете, почему. В ней находились автографы Есенина, бесценные рукописные странички его стихов и писем. Трудно было справиться с охватившим меня волнением. Ведь каждый новый автограф, каждая ранее неизвестная рукопись — это новая, счастливая встреча с самим поэтом. Как много «тайн» уже открыли мне есенинские автографы!

— Я очень хорошо понимаю вас, — видя мое состояние, заметила дружески Софья Андреевна. — Я ведь и сама до сих пор не могу спокойно прикасаться к рукописям Сергея. Я редко делаю это. Каких душевных, нравственных сил стоило Сергею каждое стихотворение, каждая строчка! Я отлично это знаю. Как крик души вырвалось однажды у Сергея: «Осужден я на каторге

чувств вертеть жернова поэм...» Да, это была «каторга чувств». Вот видите эту страничку? Она лучше всяких слов расскажет вам об этом.

Это была испещренная авторской правкой рукопись заключительных строк «Черного человека»:

*...Месяц умер,
Синеет в окошке рассвет.
Ах ты ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою,
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...*

С каким волнением держал я впервые в своих руках этот черновой автограф, позволяющий зримо увидеть, как создавался окончательный вариант драматической поэмы Есенина:

*«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его
В переносицу...*

— Как это ни странно, — задумчиво произнесла Софья Андреевна, — но мне приходилось, к сожалению, слышать и даже у кого-то читать, что «Черный человек» писался чуть ли не в состоянии опьянения, в каком-то бреде. Какой это вздор, какая дремучая обывательщина! Взгляните еще раз на этот черновой автограф. Как жаль, что он не сохранился полностью. Ведь «Черному человеку» Сергей отдал так много сил. Написал несколько вариантов поэмы. Последний создавался здесь, в этой комнате, в ноябре двадцать пятого года. Два дня напряженной работы. Сергей почти не спал. Закончил — сразу прочитал мне. Было страшно. Казалось, разорвется сердце. И как досадно, что критикой «Черный человек» не раскрыт... А между тем я писала об этом в своих комментариях. Замысел поэмы возник у Сергея в Америке. Его потряс цинизм, бесчеловечность увиденного, незащищенность человека от черных сил зла. «Ты знаешь, Соня, это ужасно. Все эти биржевые дельцы — это не люди, это какие-то могильные черви. Это «черные человеки».

— Мысли эти, — заметил я Софье Андреевне, — ярко выражены Есениным и в «Стране негодяев». Помните монолог комиссара Рассветова? Далеко сумел заглянуть Есенин в черное будущее Америки Рокфеллеров еще тогда, в двадцать третьем году:

*...Места нет здесь мечтам и
химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера...
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций светит и льет.
Вот где важ мировые цепи,
Вот где важ мировое жулье.
Если хочешь здесь душу
выжрать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.*

Я думал о том огромном моральном, нравственном напряжении, о тех колоссальных эмоциональных перегрузках, которые всегда испытывает душа и сердце истинного художника. Как поразительно точны есенинские стихи:

*Быть поэтом — это значит тоже,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувства ласкать чужие
души.*

Константин ЩЕРБАКОВ

СЛОВО О ВЕЛИКОМ ИСПЫТАНИИ

Едва ли найдется в стране театр, который не показал бы спектакля, посвященного тридцатилетию нашей Победы над фашизмом. Более удачные и менее удачные, прекрасные и весьма несовершенные, они не несут на себе и следа «обязательности», того подхода к делу, который можно выразить словами «раз надо, мы сделаем». Театрам, режиссерам, актерам действительно важно было сказать свое слово о великом народном испытании. Обращаясь к «Фронту» Александра Корнейчука и к «Русским людям» Константина Симонова, к «Ленушке» Леонида Леонова и к «Судьбе человека» Михаила Шолохова, обращаясь к военной прозе последних лет или к новым пьесам, рассказывающим о событиях тридцатилетней давности, художники сцены ставили нравственные проблемы, требующие нынешнего осмысления.

Николай Плужников, герой романа Бориса Васильева «В списках не значился» и спектакля, поставленного по этому роману Марком Захаровым в Московском театре имени Ленинского комсомола (пьеса Юрия Визбора), — Николай Плужников прибыл в Брестскую крепость в ночь на 22 июня 1941 года, он еще не значился в списках ее гарнизона, когда началась война. Плужников не только разделил героическую и трагическую участь защитников Брестской крепости — в этом аду он принял на себя больше всех, ибо дольше всех жил и дрался, под конец уже в полном одиночестве.

Васильев, а вслед за ним театр, пожалуй, проявили смелость, обратившись к герою резко исключительной, подвижнической судьбы. Сме-

Театр имени
Ленинского комсомола.
Борис Васильев
«В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ».

Драматический театр
имени Станиславского.
Василь Быков
«ОБЕЛИСК».

МХАТ, «Современник».
Михаил Рошин
«ЗШЕЛОН».

«Современник».
Константин Симонов
«ИЗ ЗАПИСОК ЛОПАТИНА».

лость — потому что наше искусство стало побавляться таких характеров и, видимо, сторонясь риторики и ходульности, все чаще и демонстративнее предлагало зрительскому вниманию ситуации, в которых не случается и не может случиться ничего, выходящего за рамки обыденности. Понять это можно именно как реакцию на риторику и ходульность, которые нельзя, к сожалению, считать бесспорно пройденной для нашего искусства опасностью. Всем нам не понаслышке знаком герой, который буквально давил на читателя, зрителя своей гранитной монументальностью, каждым своим поступком и словом как бы давая понять, что простому смертному до него возвыситься не дано.

Идержки издержками, но разве, читая «Как закалялась сталь», мы хоть на секунду воспринимаем судьбу Павла Корчагина как упрек тем, в чьей достойной и честной жизни не случилось подвижничества? Нет же, конечно, нет, однако — и здесь нет противоречия, а есть неоднозначность, которую необходимо выразить художнику, — нравственное воздействие людей подвижнической судьбы заключается еще и в том, что мы чувствуем себя немного виноватыми перед ними, хотя, по существу, конечно, ни в чем не виноваты. Помните, как у Ярослава Смелякова в стихах о Лумумбе:

Житель огромной ливарской страны,
у твоего я не грелся огня,
но ощущение какой-то вины
не оставляет все время меня.

Не становится ли это ощущение вины, пусть и не подтвержденной никакой логикой, одним из существенных стимулов, двигателей наших лучших решений, поступков?

В начале спектакля показан Коля Плужников наивным и самоуверенным лейтенантом, полным восторженно книжных представлений о войне и героике. А его путь в легенду дан Васильевым, Захаровым, артистом А. Абдуловым как цепь нравственных вопросов, решение которых в каждом конкретном случае молодой зритель мог примерить на себя, а значит, сопоставить плужниковскую жизнь со своей собственной. Это очень важная нравственная работа, и спектакль Театра имени Ленинского комсомола властно к ней побуждает.

В финале лейтенант Николай Плужников, который погиб в 1942 году, сохранив в себе высшие духовные ценности среди крови, грязи, ужаса, темени, когда и рассудок-то потерять было не мудрено, — в финале он оказывается рядом с ребятами 55-го года рождения, и песня «Степь да степь кругом», ставшая лейтмотивом спектакля, зазвучит в общем их исполнении. И вы с готовностью принимаете такой финал, ибо спектакль вел к нему последовательно и неуклонно. К мысли о том, что эти вот разных поколений молодые люди, которые даже одну песню поют очень неодинаково, выпади им на долю общее испытание, смогли бы понять друг друга и друг на друга положиться. Хотя, конечно, редко кому уготована судьба, сходная с судьбой Николая Плужникова. К великому счастью, редко...

Действуя в ситуации исключительной, крайней, Плужников положил немало фашистов своими меткими выстрелами. Белорусский учитель Алясь Мороз, герой «Обелиска» Васильева, не убил ни одного врага. Он учил детей справедливости и добру, продолжал учить и после прихода фашистов, а когда его воспитанники попали в беду, были схвачены, совершив неудачную диверсию против гитлеровцев, счел своим нравственным долгом пойти плечом к плечу с ними на смерть. Фашисты объявили: ребят отпустят, если Мороз явится сам, добровольно. Всем было очевидно, что это вранье, что Алясь Иванович и детей не спасет и себя погубит. И все же Мороз пошел.

В повести Быкова резко, polemично сталкиваются две точки зрения на поступок Мороза. В Драматическом театре имени Станиславского столкновение это обострено еще и театральными средствами. Сценическое действие развигается параллельно, в наши дни и в дни оккупации Белоруссии. Нынешние люди спорят о том, был ли героем Алясь Мороз, и здесь же, рядом, он сам говорит, думает, совершает поступки, предоставляя зрителям возможность принять участие в споре.

Мороза играет Владимир Кузнецов, постановщик этого весьма нервного, но темпераментного и живого спектакля, играет прежде всего спокойную, трудной душевной работой обретенную цельность. Если сегодня находятся люди, которым способ его противостояния фашизму не кажется единственным, то ведь еще сложнее было понять Мороза тогда, когда вооруженная борьба с гитлеровцами была ежедневной реальной необходимостью. Но Мороз знал твердо, что настоящими борцами могут быть только убежденные люди, а нравственная убежденность воспитывается прежде всего личным примером. И если он читал детям на уроках стихи Некрасова «Иди в огонь за честь Отчизны, за убеждение, за любовь, иди и гини безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь», — то ученики должны быть уверены: в критическую минуту стихи эти станут для учителя не просто словами, но моральной программой, от которой

он ни при каких обстоятельствах не отступит.

Кузнецов ведет свою роль в спокойной, чуть приглушенной интонации, показывая Мороза человеком, который знает, что ему не надо кричать, чтобы его слова действовали на окружающих. А в финале оставляет полутону и бросает в зал резко, прямо, с патетикой: «Смерть — это абсолютное доказательство. Самый неопровержимый аргумент». И этим как бы ставит точку, кладет конец спорам. Людей, которые так живут и так умирают, нельзя победить и нельзя сломать, даже если они не убили ни одного врага. Подвиг Николая Плужникова и подвиг Алясь Мороза с равным правом входят в наш нравственный опыт, обогащая его и ко многому нас обязывая.

«...Я чувствую себя должником и думаю, что мы навсегда в долгу перед теми, кто победил, кто выиграл и нравственное сражение. Ведь самыми страшными преступлениями фашизма были преступления против человечности, и, может быть, высшей их целью было: поставить людей в такие условия существования, когда низкое в человеке победит высокое, когда страх, отчаяние, отчуждение одолеют добро, идею, сострадание» — такой авторский текст звучит в пьесе Михаила Рождина «Эшелон». Героини ее — женщины, которые тоже не совершали подвига в общепринятом смысле этого слова, а просто остались людьми в тяжелых условиях осени сорок первого года, когда их эшелон шел на восток, и никто ничего не знал ни о доме, ни о близких, оставшихся там, на западе.

«Эшелон» поставлен во МХАТе (режиссер А. Эфрос) и в «Современнике» (режиссер Г. Волчек). Разными путями ведут нас театры к пониманию того, как женщины эти, каждая со своими сложностями и слабостями, сохранили в себе добро, идею и сострадание. Сохранили и передали нам — из рук в руки, смертью своей под фашистскими бомбами поднимая эти высокие понятия на новую высоту.

Но и там, где не взорвалось ни одной бомбы, война оставляла свой глубокий, тяжелейший след, ставила перед неумолимостью выбора.

Военный корреспондент и писатель Лопатин, герой повести Константина Симонова «Двадцать дней без войны», между двумя фронтовыми командировками оказывается ненадолго в Ташкенте: надо помочь в работе над фильмом, который снимается по одному из его сталинградских очерков. К повести «Двадцать дней без войны» обратился московский «Советский» — здесь в постановке И. Райхельгауза идет пьеса «Из записок Лопатина», написанная Симоновым на основе своей повести.

На сцене — такая война, где люди не ходят в атаку и не гибнут под фашистскими бомбами, пулями, а просто живут и просто работают. Фронт далеко, но он диктует меру душевного, физического напряжения этой жизни и этой работы. Сама потребность в таком взгляде, в таком подходе к теме, думается, не случайна: потребность сблизить обыденность, опаленную войной, с обыденностью сегодняшней, чтобы лучше понять себя, каков ты нынче есть и каким должен быть.

В спектакле «Из записок Лопатина» главный герой выполняет функции ведущего: Лопатин диктует машинистке свою повесть, и, рожденные воображением писателя, на сцене возникают, материализуются персонажи ее. И хотя диктуется повесть в 43-м году, по горячим следам совсем недавно происшедших событий, все равно Лопатин, который вспоминает, оценивает, анализирует, все

равно он становится как бы связующим звеном между теми днями и днями нынешними. Происходит это во многом благодаря ярко выраженной способности артиста Валентина Гафта, в каком бы времени его герой ни действовал, сразу устанавливая непосредственные, открытые контакты со зрительным залом.

Персонажи спектакля постоянно на колесах — не в переносном, а в прямом смысле: вокзальные тележки, предназначенные для перевозки вещей, стали основой оформления, предложенного художником Давидом Борисовичем. На них герои появляются и исчезают со сцены, здесь происходят объяснения, расставания, встречи. Вздыхающий, перемешанный войной, ставший вокзальным быт: фронт, Москва, Ташкент, снова фронт, короткий сон на газетах в редакционном кабинете, на вагонной полке или на диване в комнате друга, а уют, прочность обоснования, хочешь не хочешь, — «на потом».

Пожалуй, было слишком уж очевидно, что хотят режиссер и художник сказать своими тележками; иногда это мешало смотреть спектакль. Решение проведено чуть назойливо, но принцип его верен: человек вне случайного, преходящего, наживного, когда нюансы в сторону, когда обнажена сущность, и видно тебя отовсюду, догадываешься ты об этом или нет.

Бывшая жена Лопатина очень любит объяснять, сколь благородна первооснова ее устремлений, поступков, наверное, даже сама верит, что говорит искренне. И прежде эта будто бы искренность от кого-то скрывала ее натуру маленькой эгоистки и хищницы, кого-то располагала к снисходительности. А теперь не скрывает и не располагает, и в глазах Ксении — А. Вознесенской вдруг застывает горестная обиженность: в чем дело, что произошло, она-то, Ксения, какая была, такая и есть... Война произошла — вот что ей невдомек.

В числе героев лопатинской повести — старая, прославленная актриса (ее играет Любовь Добржанская), режиссер, хорошо, наверное, известный своими довоенными фильмами (его играет Олег Табаков). Художники, мастера своего дела? Конечно, иначе не были бы известными, тем более — прославленными. Но вот вы видите, как жадно выпытывает актриса у Лопатина подробности фронтового существования и самочувствия, как чутко вслушивается в потрясенность другой актрисы, которой довелось побывать там, на передовой. Видите режиссера, который, обсуждая с Лопатиным будущий фильм, вдруг без видимой связи начинает говорить о блоке, о душевной безупречности художника, оказавшегося на переломе эпох. Видите и понимаете с отчетливостью особенно резкой, что художник — это прежде всего неотступная потребность в правде, какой бы трудной она ни была, и способность каждой каплей таланта, каждой клеточкой существа ощутить себя частицей Родины в трудный для нее час.

Если чувствуешь, что начал фальшивить, врать, что не можешь сказать людям самого важного, необходимого им сейчас, — это всегда разлад с собой, всегда кризис. Но о том, какой разрывающей душу драмой, убивающей или возрождающей к жизни, может обернуться этот разлад, писатель поведал нам, обратившись к судьбе Вячеслава, поэта, друга Лопатина. Человек, всю жизнь воспевавший мужество, потерял себя, впервые оказавшись под бомбежкой, увидев окровавленные, развороченные человеческие тела. Болезнь, официально засвидетельствованная, работа в тыловом городе, а товари-

щи на фронте, и как же не писать о войне, если идет война. И он писал и боялся перечесть написанное, ибо перенести на бумагу можно только то, что есть в тебе самом, в противном случае неизбежно будет камуфляж, более или менее искусный, а Вячеслав был честен перед собой и не пытался заставить себя поверить в спасительность этого камуфляжа.

Симонов написал о Вячеславе жестко, но с тактом и бережностью, которых не всегда хватает П. Вельяминову, исполнителю этой роли. Светливость, искательность — все это может быть, но только как оболочка, за которой мучительная растерянность и отчаянные попытки восстановить себя, собравши остатки воли. В спектакле этот второй план порой перестает ощущаться, и тогда Вячеслав оказывается мельче, зауряднее, чем мог, чем должен был быть.

«А война действительно страшный суд! Чего уж страшнее этого суда, на котором отвечаешь и за все, что успел сделать, и за все, чего не успел. А тот, кто надеется, что его лично на этот страшный суд не вызовут — забудут или не узнают, — вот тот действительно грешник перед всеми другими! Тому по всей справедливости — только в ад! Хотя по некоторым не видно, чтобы даже отдаленно задумывались над этим. Скорее наоборот, рассчитывают жить в послевоенном раю и гадают, через сколько времени он для них на чужом горбу и крови начнется... А какие-то женщины все равно любят таких, спят с ними, и слушают их исповеди, и одобряют их желание жить вместо других...» — пишет Лопатин в своей повести.

Вот о чем подумалось: не было и у моего поколения и у тех, кто моложе, не было этого страшного суда, и все идет к тому, что не будет. Но вот не сделал кто-то свою работу в надежде, что товарищ по врожденной добросовестности не оставит ее недоделанной, — переложил, проще говоря, на плечи товарища то, что предназначалось твоим. И не захотел принять на себя ответственность там, где мог, должен был принять, — так ведь свалится же она в конце концов на кого-то, эта ответственность, не растворится в пространстве! Маленькие поблажки собственной лени и слабости, легкие компромиссы, крошечные уступочки там, где уступать вообще-то, конечно, не надо было...

Но если человек раз, другой, третий позволил, чтобы кто-то работал за него и отвечал вместо него (а сыскать приличествующие оправдания, ворох нюансов, оттенков — за этим дело не станет, ведь жизнь, как в таких случаях любят говорить, сложна и противоречива), если он все это себе позволил и не спохватился, не ужаснулся, то, случись обстоятельства чрезвычайные, как быть уверенным, что у него не возникнет и этого, уже лишеного нюансов и сложностей, желания жить вместо других?

Могут сказать: будни есть будни, чего уж, и стоит ли будничные, отнюдь не глобальные неурядицы мерить тем страшным судом? Мерить не надо, наверное: время иное, и очень многое переменялось. А вот с оизмерять, — соизмерять просто необходимо, для того в первую очередь и пишутся сегодня, по моему, военные книги, ставятся спектакли и фильмы.

Спектакли, о которых я написал, выражают эту необходимость соизмерения явно и резко. Они говорят нам: все, кто участвовал в войне — погибшие и живые, — сделали тогда свое дело, оставив нам право, обязанность, долг: сделать сегодня свое не хуже.

ОТКРЫВАЙ, ДУША



**В. СЕРОВ.
СТАЛЕВАРЫ.**



**Г. ПОПОВ.
СЕНОКОС.**

КРАСОТУ СВОЮ!

Ольга ВОРОНОВА

Всесоюзный фестиваль самодеятельного творчества трудящихся

Больше полугодя прошло с начала Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества. Состоялись конкурсные соревнования кинолюбителей и эстрадных коллективов, промелькнули танцующие пары, прогремели марш-парады духовых оркестров, радостной волной прокатились по стране величаво-торжественные праздники песен.

Фестиваль особенно ясно показал, какое значение и какой размах приобрела сейчас — и в первую очередь среди молодежи — самодеятельность. Стремление к творческой деятельности пронизывает все коллективы сверху донизу — каждый цех, каждую бригаду. Многие предприятия, не дожидаясь всесоюзного смотра, ежегодно проводят праздники самодеятельности. Примером этого могут служить фестивали «Весна-73», «Весна-74» завода «Кузбасс-электромотор» (в нынешнем году, например, в этом празднике приняли участие 16 цехов, более тысячи человек). В Горьком уже определилась традиция самодеятельного циркового искусства: раз в году манеж Государственного цирка передается любителям области, желающим продемонстрировать свое мастерство.

Мастерство и массовость — вот девиз первого тура фестиваля. Он принес нам много радости, этот первый тур, и вместе с тем выявил немало организационных просчетов, трудностей, ошибок в подходе к участникам самодеятельности.

Сейчас мы переворачиваем вторую страницу фестиваля, посвященную приближающемуся XXV съезду КПСС. Высокое это посвящение обязывает ко многому, и прежде всего к тому, чтобы осмыслить все поставленные ходом всесоюзного смотра вопросы.

Какими путями шло и идет развитие самодеятельности, каковы ее задачи? Каково соотношение профессионального и самодеятельного искусства? Какой может стать самодеятельность в будущем, чего мы ждем от нее? Эти вопросы тем более значительны и обширны, что сейчас нет ни одного вида искусства, в котором не принимали бы участия самодеятельные мастера. Сегодня над этими вопросами в применении к самодеятельности в изобразительном искусстве размышляет критик Ольга Воронова.

Выставка картин Тыко Вилко, открытая 21 февраля 1911 года в Музее кустарных ремесел, поразила москвичей. Бескрайние снежные поля окружали человеческие жилища. На охристых, поднимающихся над морем скалах гнездились тысячи птиц. Золотой круг луны прорезал пронизанный синевой воздух. Белая медведица выволила медвежат на берег, словно для того, чтобы полюбоваться далеким парусником.

Что больше удивляло зрителей? Талантливость безвестного художника или то, что этот художник был охотником с Новой Земли, немцем, как говорили тогда — «самоедом»? «Родиться на Новой Земле, возле какого-то полумифического для нас Маточкина Шара, и явившись в Москву, на вечную ее ярмарку художества, пытаться передать странное очарование тех далеких родных мест — вот судьба, которую нельзя назвать обычной! Лавр искусства, оказывается, выдерживает стужу в 50 градусов и может дать ростки за чертой Полярного круга», — писали газеты.

А через год Москва, снова затаяв дыхание, слушала художника Ле Дантю, рассказывавшего о Нико Пиросманишвили и демонстрировавшего его работы. Три года подряд открывались выставки картин Пиросманишвили — в 1912, 1913, 1914 годах: Ле Дантю и братья Зданевичи в поисках их прочесывали тифлиские духаны, лавки, базары.

В начале века встречи с художниками-любителями были необычными и воспринимались как сенсация. Теперь они стали постоянными. На прошедшей московской выставке «Слава труду!» были представлены не два, не двадцать непрофессионалов, а 1 600 человек, около трех тысяч произведений. Много? Скорее, мало. Только на выставке самодеятельных художников в Вологде экспонировалось более пятисот работ.

С каждым днем все больше людей начинают творчески интересоваться изобразительным искусством. Э. Орунов, механик из Чарднюку, пишет

нолхозников, беседующих за пиалой чая. В. Зорин из Петропавловска-на-Камчатке — рыболовецкие суда, отстаивающиеся в бухте, окруженной высокими снежными горами. П. Апатченко, инженер из Воронежа, — лирические русские пейзажи: низкие травянистые берега, плавное течение рек, кудрявые деревья, отраженные в голубоватом зеркале воды.

Рассказ о том, что близко, рядом? Не обязательно. Первому коммунистическому суботнику посвящает свое полотно «Великий покой» москвич-метростроитель К. Тодосейчук: «Смерть Колчанку!» — написано на паровозе, выходящем в этот день из ремонтного цеха. А строитель К. Дмитрук (Калининградская область) задумывается об истории России. «Словом о полку Игореве», «Задонщиной» вдохновлена его композиция «Русь»; на темном, как бы подернутом патиной старинной дереве — чеканка: воины в высоких шлемах, сжимающие рукоятки боевых мечей.

«Автопортрет страны» назвал художественную самодеятельность академик Д. А. Шмаринев. Видимо, стоило бы говорить и о том, что это ее история. В 1918 году художники впервые распахнули двери своих мастерских перед народом. «И люди вошли в студию, — вспоминал потом С. Т. Коненков. — Они с какой-то робостью, изумлением и наивной радостью, может быть, впервые в жизни приобщались к искусству». Сейчас народ не только хорошо знаком с творчеством признанных мастеров, но имеет и свои студии. В каждой республике, в каждой области, почти в каждом крупном городе. Художники, искусствоведы ищут, выявляют народные таланты. Г. Габашвили, один из художников, возродивших знаменитую грузинскую чеканку, руководя изостудией при Доме народного творчества в Тбилиси, ежегодно, забывая о собственном творчестве, отправлялся в горы, в далекие, труднодоступные районы: «Ждать? Но ведь не всякий, кто интересуется искусством, придет в Тбилиси. Надо помочь ему там, на месте...» Стоит раз зажечь огонь, и его уже не потушишь. Мастера сами собирают вокруг себя учеников. Мария Приймаченко из Болотин (УССР), создающая яркие декоративные панно с ироторгами баранами, фантастическими жар-птицами и ходящими по воде на четырех ногах рыбами, окружил себя молодежью: «Человек два века не живет. Сам умрет, и все с ним умрет. А теперь у меня сколько детей, когда я в хате студию открыла. Все работают».

Облетают листки календаря, дни бегут за днями. Рабочая неделя у всех самодеятельных художников разная. Один стоит за станком на заводе, другой — у раскаленной пылающим металлом домы, третий преподает в школе математику, четвертый водит комбайн или рыбачий катер. Но выходя из недр объединяет всех. Взяв в руки палитру, резец, стелу, люди входят в волшебную страну прекрасного. И не так уж важно, будет ли в их произведениях подлинное искусство или только озаренность им. Независимо от этого люди чувствуют себя причастными к творчеству.

Естественно, что особое значение приобретает здесь личность учителя — его душевная чуткость, его умение понять индивидуальность ученика, привить ему хороший вкус, разбудить и направить творческую потенцию. Хороший учитель — это как судьба. Свердловчанин Альберт Коровкин окончил ремесленное училище, специализировался по ремонту точной техники, отслужил в армии, работает в экспериментальных мастерских Уральского научного центра стекловодом. Работу свою, как сам говорит, «уважает», бросать не собирается, с детства мечтал о такой. И с детства же увлекался рисованием, собирал репродукции, срисовывал их, пытался ходить на этюды. Но настоящему почувствовал радость и полноту жизни, которые дает искусство, только поступив в самодеятельную студию Дворца культуры железнодорожников, где руководителем был живописец Н. Г. Чесноков.

Я знаю Чеснокова и могу засвидетельствовать, с какой горячностью относится он к своей студии. Порой на вопрос о том, что нового в его творчестве, он начинает рассказывать о картинах и изданиях своих учеников: становление каждого из них Николай Гаврилович переживает как события своей личной биографии.

Работая в студии Чеснокова, Коровкин не только овладел азами мастерства, научившись крепить грунт и смешивать краски. Он нашел свою форму выражения, свою технологию: покрывает доску специальным, им самим сваренным раствором, пишет темперой под лак.

Увлечение лубком, интерес к древнерусской живописи, восхищение детским рисунком — все отразилось в этих работах. Они нехитры по сюжетам — старик и старуха у телевизора, уличный фотограф, снимающий конетяную девушку, — но в них много выдумки и доброго юмора. Яркие, красочные, они побывали на многих выставках, в том числе и в Голландии. И на каждой из них можно было прочесть надпись: «Рисовал стекловод Коровкин. Из Свердловска. Ученик Н. Г. Чеснокова».

Среди самодеятельных художников есть особая группа, к которым сейчас отнеслись бы Вилко, Пиросманишвили, Руссо. В их полотнах — детская, почти сказочная наивность, обнаженность чувства, необычность конструктивных и цветовых отношений. «Они просто не умели рисовать, не знали, как строится композиция, никогда не видели настоя-

щих картин», — приходится слышать порой. Полно! Руссо, например, был другом Ван-Гога, Гогена, видел их полотна, показывал им свои. Не о неумении здесь надо говорить — о даре непосредственного восприятия.

Как деревенская невеста, разубрана весенняя земля, по которой гуляют жених и невеста в картине Я. Наливайкене (Литовская ССР) «Вишни цветут». Художница выбирает нежные краски — белую, бледно-розовую, голубую, светло-зеленую. Белые уточки подплывают прямо к влюбленным, река поросла белыми цветами кувинок — везде тишина, идиллия.

Порой кажется, что художника волнует только достоверность изображения — действительное, сущее. Р. Глonti (Грузинская ССР) вырисовывает каждый листочек, имитирует всякую деталь — прутья корзинки, придорожные травы. Как бусы, нанизывает чистые, яркие тона — и в результате рождается чудо реализовавшейся мечты. Солнечный день прохладен — в густоте деревьев словно затаялись сумерки, каждая сборщица чая прекрасна, как царица Тамара, осанка, жесты величавы, изящны, изысканы!

Итак, работы стекловода Коровкина экспонировались в Голландии. Имя Наливайкене известно всей стране, перед картиной тбилисской домохозяйки Э. Зарапишвили «Фиолетовая лошадь» в восторг останавливались художники. Значит ли это, что художественная самодеятельность должна поставлять кадры профессиональному искусству? Нет, не должна. И не только потому, что непосредственно научить нельзя, а в Голландии была развернута выставка самодеятельных мастеров. Самодеятельное и профессиональное искусство принципиально различны. Профессиональное искусство не удовлетворяется выходными днями, оно требует от человека всей его жизни. Помните Золя, его роман «Творчество»? «Утром, едва я вскакиваю с постели, работа захватывает меня, — признается один из его героев, — она сидит в моей тарелке, когда я обедаю, ложится вечером со мной на подушку, она так безжалостна, что я не могу расстаться с начатым произведением ни на минуту, оно зреть во мне, даже когда я сплю».

Для того, чтобы растить профессиональных художников, существуют училища и институты. Для того, чтобы приобрести подготовку, которую получают студенты, самодеятельному художнику нужно потратить долгие, полные самоотверженного труда годы. А. Ситникова, впервые взявшаяся за кисть сорокалетней женщиной, рассказывала, что почти семнадцать лет она жила и работала в постоянной, гнетущей неуверенности. Сотни раз писала один и тот же этюд и сотни раз убеждала, что он слабее, хуже, быстрее сделанных набросков вчерашних выпускников: «Стыдилась показать кому-либо свои работы. Запрუსь ото всех, рисуя день-деньской и плачу...»

Адни Хабидуловне повезло: сумела преодолеть все барьеры, стала известным живописцем, заслуженным художником Башкирии. Мастером. Но ведь вполне может случиться и гораздо чаще случается обратное: человек, обильный неожиданным успехом на выставке, бурным восхищением товарищей, резко изменяет свою жизнь. Бросает работу, которая не только обесценивала его материально, но и питала духовно, запирается в мастерской. А результаты плачевные: из хорошего инженера или токаря получается заурядный художник, уныло повторяющий азы ремесла. Вот и живет этот человек всю жизнь с горьким осадком неисправимой ошибки, обиды.

Никакого трудолюбия недостаточно, если у человека нет способности самостоятельно увидеть и почувствовать окружающее, если нет, как говорят художники, «индивидуального видения». Иные любители копируют уже известные произведения, заимствуют сюжеты или манеру своих любимых мастеров. Что ж, в самодеятельности это вполне допустимо; ее задача — помочь людям широко, свободно и волно чувствовать себя в мире искусства. В профессиональном же искусстве, которое и живо-то только поиском, об этом и думать не приходится: подражатель заранее обрекает себя на презрение, его сразу же назовут эпитомом. Стоя перед произведением профессионального художника, зритель должен чувствовать, что автор не повторил кого-то, а высказал в нем свое, выношенное, заветное, то, о чем не мог сказать иначе.

Вопрос о том, можно ли рассматривать самодеятельные студии как ступень для перехода в профессиональное искусство, — только одна ниточка в сложном, запутанном клубке проблем сегодняшней самодеятельности. Спорят не только о самодеятельных художниках — спорят они сами.

«Колоб глины укрепить надо, чтобы не шлохнул», — рассказывает о своем ремесле старейший гончар Вологодчины Я. С. Топорков. — Ножичком серединку вынуть и с воли обрезать. Руками стенку подправить или дно выщипать. Так отцы и деды делали, я у них учился. Они себя горшоделами звали, и нам этого звания стыдиться нечего».

«Неправда! — чуть ли не со слезами обиды возразила молодая мастерица. — Горшки ухватом в печь совали, наша посуда стол украшает. Не горшоделы мы — художники, керамисты!»

Кто прав? Проблему традиций и новаторства каждый решает для себя сам. Жестянщик из Тотмы В. Марков идет по стопам дедов — вырезает дымники с затейливыми флюгерами и шпильями, с кружевным орнаментом, с бутонами железных цве-

Прошло несколько месяцев с тех пор, как оборвалась жизнь Василия Макаровича Шукшина. Но его книги, его фильмы живут и будут жить, как драгоценная часть нашей культуры. Редакция «Смены» получает множество писем, в которых читатели просят рассказать о жизни и творчестве этого самобытного художника.

Сам Шукшин не любил говорить о себе. Но иногда в кратких беседах с журналистами, писателями, читателями Василий Макарович вспоминал детство и юность, рассказывал о своей работе. Из этих высказываний Василия Шукшина и составлена «Автобиография», которую мы предлагаем вниманию читателей. В ней использованы опубликованные в нашей печати материалы журналистов Н. Бодрова, С. Вишнякова, Н. Гумера, Г. Кожуховой, Н. Лордкипанидзе, Ю. Смелкова, Г. Цитриняка, Ю. Черепанова, а также напечатанные в газетах выступления и письма В. М. Шукшина.

Василий ШУКШИН



Меня спрашивают, как это случилось, что я, деревенский парень, вдруг все бросил и уехал в Москву, в Литературный институт (правда, туда меня, понятное дело, не приняли: за душой не было ни одной написанной строки; поступил на режиссерский факультет ВГИК, в мастерскую М. И. Ромма).

Самая потребность взяться за перо лежит, думается, в душе расстреленной. Трудно найти другую побудительную причину, чем ту, что заставляет человека, знающего что-то, поделиться своими знаниями с людьми.

После войны я совсем пацаном ушел из села. Трудные были годы для деревни, и многие тогда подавались в город. Я работал слесарем на заводе во Владивостоке, строил литейный завод в Калуге, был разнорабочим, учеником маляра, грузчиком, восстанавливал железные дороги. Исколесил всю страну и как-то раз очутился в Москве.

Помню, нужно было мне где-то переночевать, а денег не было. Пристроился я на скамейке на набережной. Вдруг около меня остановился какой-то человек, покурить, видно, вышел. Разговорились. Оказалось, земляки. Он тоже из Сибири, с Оби. Он узнал, что я с утра не ел, повел меня к себе. Допоздна мы с ним чай гоняли и говорили, говорили...

Это был режиссер Иван Александрович Пырьев. Он мне рассказывал о кино, о жизни. Что-то у него тогда не ладилось, вот он и выложился перед незнакомым парнишкой. Когда мы встретились лет через десять, он меня и не узнал, а я этот разговор навсегда запомнил.

В институт я пришел ведь глубоко сельским человеком, далеким от искусства. Мне казалось, всем это было видно. Я слышим поздно пришел в институт — в 25 лет, — и начитанность моя была относительная, и знания мои были относительные. Мне было трудно учиться. Чрезвычайно. Знаний я набирался отрывисто и как-то с пропусками. Кроме того, я должен был узнавать то, что знают все и что я пропустил в жизни. И вот до поры до времени я стал танць, что ли, набравшую силу. И, как ни странно, каким-то искривленным и неожиданным образом подогрел в людях уверенность, что правильно, это бы должны заниматься искусством, а не я. Но я знал, вперед знал, что подиравулю в жизни момент, когда... ну, окажусь более состоятельным, а они со своими бесонечными заявлениями об искусстве окажутся несостоятельными. Все время я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного.

Теперь мне не хочется становиться в позицию и положение другого человека — я уже свикся с этой манерой жить и работать. Мне не хочется делать никаких авансов, никаких заявлений. Ничего страшного, если промолчу лишний раз. Оттого, что не

скажу чего-то такого о себе, ничего не случится, — я-то буду знать про это. И я хочу сказать, что мне сейчас трудно менять образ своих действий после того, как я так вот уже прожил изрядное количество лет, прошел институт, прошел первую пору отвоёвывания себе права работать в искусстве — это тоже было. И свикся с таким образом жизни. Представьте себе, такая глупая, в общем, штука, но все кажется, что должны мне отказывать в этом деле — в праве на искусство.

Я начал писать под влиянием кино и снимать под влиянием литературы. В своих рассказах, повестях и романах я почти никогда не пишу: герой подумал то или это. Редко впадаю в описательность, мало пользуюсь авторскими отступлениями. Больше всего я доверяю поступкам персонажей и их диалогу. Многословие пудовых томов, которыми нередко кормят читателей, мне не очень нравятся.

А влияние литературы на мои фильмы сказывается, видимо, в том, что я обычно не иду по пути так называемой чистой кинематографичности. Долгие, бесконечные проходы, молчаливые сцены, за которыми при всей их видимой многозначительности нередко нет никакой мысли, наупленные и при этом малообразительные взгляды безмолвных героев — все это меня, как правило, не прельщает.

Вот так и сосуществуют в моей работе перо и объектив...

Мы говорим: «Это в романе есть, а в кино нет». Ну и что же, что нет? Зато в кино есть то, чего нет в романе: зрелищность и сиюминутность происходящего. И наблюдение за актером и за текучестью его мимики. За мыслью, которая в глазах. То есть средства огромные, только мы не всегда ими разумно пользуемся и не во всю мощь их пускаем.

Поэтому, если говорить об этом в случае собственном, положим: для меня литература перестает существовать, когда начинается кинематограф. Я потом и сценарий даже не читаю: уже включается и другой мотор, и иная цель, и иной род повествования. Поэтому у меня никогда сценарий не походит на готовый фильм, да я и не считаю, что сценарий надо непременно точно, буквально перенести на экран. Просто для меня в лучшем случае сценарий — руководство к действию. То, что в голове, вообще никогда не запишешь. Потом: то, что на бумаге, мне нужно во многом для того, чтобы окружающим людям как-то рас-

сказать, о чем я собираюсь картину делать. Для себя же я оставляю возможность работы на площадке — с актером, с оператором, с художником. У меня фильм в основном происходит как-то потом. Но это отдельный случай.

При всем том я участвовал в фильмах, которые похожи на сценарии. Так тоже можно жить и работать. У меня немножко иначе — это очень субъективный подход к делу. Просто-напросто мне приходится потом уже сценарий записывать по фильму. Вот я переиздавал однажды сценарий «Живет такой парень». Попросили в издательстве, и я показал им сценарий, который совершенно не похож на фильм. Пришлось мне по картине записывать вроде бы сценарий.

Я ведь вырос в селе Сrostки на реке Катунь и до сих пор бываю там почти каждый год. В селе у меня много друзей, и мама моя там живет. Я езжу туда работать — давно уже заметил, что там у меня лучше получается. Но Сrostки для меня не Дом творчества, не санаторий, я там присматриваюсь к жизни, с людьми разговариваю. И по дороге тоже вижу много интересного: от Москвы до Алтая тысячи верст.

В одной из таких поездок родилась тема нового фильма. Сюжет простой. Алтайский тракторист едет отдыхать на юг, в Ялту, что ли. Парень он молодой, чуть простодушный, чуть самоуверенный и очень любопытный. И вот едет этот хозяин и кормилец страны через Россию и смотрит вокруг себя во все глаза. Встречается с разными людьми и пытается понять, кто есть кто, кто чего в жизни стóит.

Человеческая ценность, подлинная и мнимая, интеллигентность, настоящая и поддельная; внутреннее достоинство и угодничество — вот с чем столкнется тракторист Иван. Ему гораздо легче будет найти общий язык с пожилым профессором, чем с пустоzvонами и хамами, которые выдают себя за больших интеллектуалов.

Сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: «Я ведь академик не кончал...» Не кончал, а генералов, которые кончали, лупит. Этому, как видно, есть объяснение: «академик» не кончал — наш, генералов бьет — это значит, мы в состоянии их бить без «академиев». Но сегодня академики существуют уже не для «элиты». И попробуйте в наши дни вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: «Я академик не кончал», — восторга не будет. Будет сожаление: зря не кончал. Теперь надо кончать академики, и всерьез кончать. Это, впрочем, ясно. На мой взгляд, родилась другая опасность, особенно в вопросах искусства. Ну, может, не опасность: болтуны и трепачи во все времена были. Но если не опасность, то постыдное легкомыслие. Не нам бы этим заниматься. Это никак не интеллигентность — много и без толку умеет. Интеллигентность — это мудрость и совестливость, я так понимаю интеллигентность. Это, очевидно, и сдержанность и тактичность. Мне один незнакомый человек посылает письма и сценарии и пишет: «Ну, Вася, ты даешь: на три письма мне ответил!» Не буду отвечать: от такого «своего» обращения, «нашенского» меня тоже уже воротит. Хоть возраст-то надо уважать — мне 44 года. Даже в деревне никто не обращается к сорокалетнему человеку: «Васяк». Это уж и себя тоже не ува-

жать. Человеческое достоинство, право относится к интеллигентности.

Почему погибает Егор Прокудин? Этот вопрос задают чаще всего. Он, мол, уже осознал: надо было, чтоб он женился и стал честным тружеником.

Протест против смерти Егора Прокудина — чисто эмоциональное выражение людей, отдавших непутевому парню свои симпатии. Однако ведь есть более высокий суд — суд разума. А разум обязан анализировать, на то он и разум.

Перед нами человек умный, от природы добрый и даже — если хотите — талантливый. Когда в его юной жизни случилась первая серьезная трудность, он свернул с дороги, чтобы, пусть даже бессознательно, обойти эту трудность. Так начался путь компромисса с совестью, предательства — предательства матери, общества, самого себя. Жизнь искривилась, потекла по законам ложным, неестественным. Разве не самое интересное и не самое поучительное обнаружить, вскрыть законы, по которым строилась (и разрушалась) эта неудавшаяся жизнь? В избранном нами случае только развратная картина драмы одной жизни — с ее началом и кон-

цом — может потрясти, убедить. Вся судьба Егора погибла — в этом все дело, и неважно, умирает ли он физически. Другой крах страшнее — нравственный, духовный. Необходимо было довести судьбу до конца. До самого конца.

Вот смотрите: я очень неодобрительно отношусь к сюжету вообще. Я так полагаю, что сюжет несет мораль — непременно: раз история заминута, раз она для чего-то рассказана и завершена, значит, автор преследует какую-то цель, а цель такого рода: не делайте так, а делайте этак. Или: это — хорошо, а это — плохо. Вот чего не надо бы в искусстве.

Когда я попадаю на правду — правду изображения или правду описания, — то начинаю сам для себя делать выводы. И весьма, в жизни и нормальный человек. Почему же иногда не доверяют этому моему качеству — способности сделать правильные выводы? Эту работу надо мне самому оставлять. Меня поучения в искусстве очень настораживают. Я их боюсь. Я никогда ни не верю, этим поучениям. Как читатель и зритель не верю поучениям ни из книги, ни с экрана.

Я знаю, наш фильм тоже можно понять так — не ходите в преступники, хоть сделан он о другом. О том, как зазря погибает душа человека. По-разному гибнет душа: у одного она погибла, а он этого не заметил. Работал, вышел на пенсию, всем доволен, а на самом деле погиб. С этой бедой живут многие, и не сознаются, и не сознают этого в себе.

Поступок — измерение личности, и я в искусстве стою за право на поступок. Не случайно так много сильного написано о войне — человек во время войны имел право на поступок. Егор тоже совершил поступок, и я за это его люблю. Знаете, когда он настоящий? Когда идет навстречу своей гибели.

В постижении сложности — и внутреннего мира человека и его взаимодействия с окружающей действительностью — обретается опыт и разум человечества. Не случайно искусство во все века пристально рассматривало смятения души и — обязательно — поиски выхода из этих смятений, этих сомнений.

Ни у кого не возникло даже тени сомнения насчет правомерности доверия к такому человеку, как Егор Прокудин. Вот какова сила предрасположения нашего народа и добру, и тому, чтобы открыть свое сердце всякому, кто нуждается в теплоте этого сердца. Я не мог не знать с самого детства этого качества советского человека, но здесь оно вновь прозвучало для меня как самое дорогое открытие. Насколько же откровенно и доверительно можно разговаривать в искусстве вот с такими людьми. А мы подчас сомневаемся: поверят ли, поймут ли?..

Тема эта, когда жизнь человеческая размывается на пятаки, прожигается просто так, меня волнует необы-

чайно. В разных аспектах. Грустно, когда прекрасный дар — жизнь расходуется человеком так бездарно, когда он не хочет видеть вокруг прекрасное. Мало, мне думается, строить новую жизнь, создавать машины, растить хлеб, если ты в жизни своей равнодушно проходишь мимо прекрасного. Я как коммунист, как рядовой партии не могу мириться с этим. И здесь, мне кажется, мало призывать людей к общению с искусством, надо и самих художников призывать к искусству. Может быть, тогда у нас переведутся серые фильмы, сделанные с «добрыми намерениями». Я бы сказал резче — не серые, а лживые: разве серость по отношению к правде и чистоте жизни не есть ложь?

Есть радость от общения с правдой. У Шолохова все по-народному точно.

Вот, положим, солдат Лопухин. Я думаю, это очень народный характер. Он ведь, хоть и должен подставлять грудь и спину железу, падающему с неба, остается, пока жив, жи-

просто тягостно. И есть вещи, которые, так сказать, соприкасаются с мыслью о необходимости что-то выбирать. Черт его знает, когда это будет и будет ли вообще! Потому что кинематограф — такая цепкая штука. Об этом еще вот учитель мой, Ромм Михаил Ильич, говорил, глубокой моей пристрастности, привязанности, благодарности человек. Я ведь начал писать с его, так сказать, легкой руки. И когда он какие-то первые проблески увидел в моих рассказах, то предупредил, что трудно будет потом выбирать. Кинематограф, как и литература, обладает притягательной силой: возможность мгновенного разговора с миллионами — это мечта писателя. Однако суть-то дела и правда жизни таковы, что книга работает медленно, но глубоко и долго. Тут и у одного и у другого есть преимущества.

И, если ответить на основной вопрос: «Что для вас сейчас главное?» — то так: передо мной теперь вот эта проблема стоит: что выбрать? Как дальше строить свою жизнь?

культуры, интеллигентности, говорить о нем как о писателе рано, он еще не писатель или, скажем так, не настоящий писатель, а человек, написавший книгу, две книги... пусть пять книг, но не сообщавший ничего нового о жизни. Только впитав в себя опыт мировой литературы, писатель найдет манеру, одному ему свойственную.

Пишется легко, податливо только тогда, когда, по своему опыту знаю, доведу себя до мучительного нетерпения. Тогда и шестьдесят страниц накатать подряд могу. А потом начинаю мучиться, все время думаю о написанном, и чем дальше, тем тревожнее на душе.

«Записная книжка писателя»... Да ты писатель ли? А уже «записная книжка писателя»! Вот ведь что губит-то! Ты еще не состоялся как писатель, а уж у тебя записная книжка! Ишь, ты, какие поползновения в профессию, а еще профессиональней не овладел! Вот это злит... Много злит...

Слишком я уважаю эту профессию, слишком она для меня святая,

жет быть, книга), где уместся глубже постичь суть мира, времени, в котором живу. Все мысли — об этой будущей работе. Самое же реальное — это стопка чистой белой бумаги. Хожу вокруг нее, прикидываю. А не зазеть ли навсегда за письменный стол?

Задумал я одно большущее дело — СЛОВАРЬ (разговорный) СИБИРСКИЙ. Чудится мне, что Сибирь есть та самая кладовая, которую давно-давно пора открыть и выгрести все добро и раздать. А насколько мне известно, никто не пробовал это сделать! Помоему, пора! Много уже сделано, но одному это не под силу.

Я не хочу, чтобы ты разучился мечтать (я бы и не смог отучить тебя от мечты, если б даже и захотел для чего-то, это не в моей власти и ни в чьей власти), я хочу только, чтобы ты знал: к желанной цели тебя приведут разум и труд. Я боюсь, что ты уже слышал-переслышал это, и скривившись недовольно лицом, не дослушаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным, но я не могу найти слов более точных, чем эти

АВТОБИОГРАФИЯ

вым человеком. Случилась бабенка на пути, попытался ее приобщить. И так далее. В этом много от жизни.

Уж не знаю, как получится на экране, — никогда не знаю, пока работа не закончена. Ни в своем случае не знаю, ни в чужом случае не знаю. Но я стараюсь правдиво сделать роль. Стараюсь даже некое озорство шолоховское показать в выявлении характеров. Герои Шолохова — дорогие ему и трогательные люди. Отношение автора к ним самое любовное. И у Бондарчука, кстати, то же самое. Вот здесь они плотно сомкнулись — в любовном отношении к героям, в сознании того, что люди вершат подвиг, которым народ будет жить века. На опыт военного времени еще долго будут оглядываться, поверять им свои дела. Надо же вздуматься в подвиг народа. Вздуматься.

Думаю, что работа литератора должна подчинить себе всю его жизнь — по крайней мере он должен иметь в жизни определенный покой. Потому что работа-то писателя требует усидчивости, вдумчивости, предполагает углубление — не торопливость, не потогонную систему, не «столько-то листов в день», хотя я и это слышал на Москве.

Слышал, хвастались ребята-писатели, что: «Я столько-то в день выдаю...», «Я — столько-то...». Очевидно, не то главное, кто сколько «выдает», а что, для чего нужно глубоко погрузиться в мысли, глубоко постичь... Вот для этого-то и нужен покой.

А кинематограф — совсем иное. Природа его разнообразна, этим она очень интересна, но этим и поглощает человека. Тут порой много больше, я думаю, энергии, чем мысли.

Я отчетливо понимаю, что не просто, положим, изобрести сценарий и поставить фильм. Тут мысль нужна. Но при всем том обязательные столкновения с разными людьми, с разными профессиями разностороннюю мысль, растаскивают ее, приводят к неизбежным компромиссам. Ты, скажем, задумал одно, а оператор говорит: «Это нельзя снять...» Есть ограничитель, называемый техникой. Может быть, когда-нибудь техника и раскрепостит нас, но пока что она тормоз. Все надежды на то, что когда-нибудь мы обретем эту возможность — как захотел, так и снял.

Но вот я о себе говорю: тягостно,

Охота ее использовать... ну, результативнее. Но сейчас такое время, когда я никак не могу понять, что же есть более точный результат. И, может быть, я дорого расплачусь за эту неопределенность...

Я тут сказал бы про свое собственное, что ли, открытие Шолохова. Я его немножко упрощал, из Москвы глядя. А при личном общении для меня нарисовался облик летописца.

А что значит: «Я упрощал его»? Я немножечко от знакомства с писателями более низкого ранга, так, скажем, представлении о писателе наладил несколько суетливое. А Шолохов лишний раз подтвердил, что не надо торопиться, спешить, а нужно основательно обдумывать то, что делаешь. Основательно — очевидно, наедине, в тишине...

Когда я вышел от него, прежде всего в чем я поклялся — это надо работать. Работать надо в десять раз больше, чем сейчас.

Вот еще что, пожалуй, я вынес: не проиграй — жизнь-то одна. Смотри, не заиграйся... И вот, еще раз выверяя свою жизнь, я понял, что надо садиться писать. Для этого нужно перестраивать жизнь, с чем-то расставаться. И по крайней мере оградить себя, елико возможно, от суеты.

Суета ведь поглощает, просто губит зачастую. Обилие дел на дню, а вечером вдруг понимаешь: а ничего не произошло. Ничегошеньки не случилось! А ведь день был занят. Да занят-то как, прямо по горло, а вот черт те, ничего не успел. Ужас. Плохо. Плохо это.

И вдруг я в мыслях подкрадываюсь к тому, что это же чуть ли не норма жизни, хлопотня такая — с утра дела, дела, тыщи звонков... Но так, боюсь, просмотришь в жизни главное. Что же делать? Может, не бывать одновременно в десятках мест? Ведь самое дорогое в жизни — мысль, постижение, для чего нужно определенное стечение обстоятельств и прежде всего — покой. Но это древняя мысль, не мое изобретение...

Далее, если говорить о профессии писателя, она природой своей немедленно ставит вопрос о культуре писателя. В наши дни писательская профессионализация — скорее поздняя (прозаиков особенно). Это нормально. И если к тридцати годам, положим, человек, склонный к писанию, не обрел общей необходимой

чтобы еще говорить, как я встаю рано утром, как сажусь... Да ты результат дай сначала... За 15 лет работы несколько книжечек куцых, по 8—9 листов — это не работа профессионала-писателя. 15 лет — это почти вся жизнь писателя. Надо только вдуматься в это! Я серьезно говорю, что мало сделано, слишком мало!

В «Степане Разине» меня ведет та же тема, которая началась давно и сразу, — российское крестьянство, его судьбы. На одном из исторических изломов нелегкой судьбы русского крестьянства в центре был Степан Разин. К истории я уже обращался в романе «Любовины». То была первая попытка, не столь сложная по материалу и не столь далекая по времени: в «Любовины» речь шла о начале 20-х годов нашего века. Но тема та же, и не случайно: я по происхождению крестьянин.

История жизни Степана Тимофеевича, его борьбы и гибели переполнила меня, захлестнула с головой. Съемки фильма — дело долгое, так что я, не мешкая, сел писать книгу. А когда роман был закончен, я понял, что нужно возвращаться к кинематографу.

Степан Разин — личность сильная, интересная. Самое поэтическое лицо в нашей истории, как сказал о нем Александр Сергеевич Пушкин. Пока народ будет помнить Разина, художники будут делать попытки воссоздать этот сложный образ. Но с каждым разом, очевидно, по-разному... Хотелось бы уйти от шаблона и облегченного решения. Например, это не традиционный великан с ломаной бровью, пугающий Степна Разин. Я хочу снять с него внешнюю богатырскую и привлечь внимание к его уму.

В моем сценарии Степан экспансивен, тряска его начинается, когда видит, что обижает простого человека. И, по моему, это искрение. Это так и было. Таким он остался в преддверии, таким создал его еще один, самый великий художник — народ.

Что собираюсь делать дальше? Ясное дело — работать. Искать какую-то новую ступеньку. Пока конкретно про ту ступеньку знаю мало. Догадываюсь: надо порвать с собственными пристрастиями. Моя деревня, моя деревня... Как любит наш брат описывать переживания горожанина, приехавшего погостить в родное село. Как трюгают нас коромысла, ухваты, запахи сушеных грибов. Насколько, дескать, здесь все чище, несуетнее... Ну, а дальше что? Пора бы нам серьезней обращаться к действительным проблемам жизни деревни, раз уж мы так ее любим... Надеюсь, верую: она впереди, моя картина (а мо-

два: разум и труд. Не вина этих слов, что употребляют их слишком часто, иногда попусту, всеу, приторно, «ради хорошей оценки» или чтобы породить в людях хорошее о себе мнение... Слова не виноваты, они говорят правду, они вечны. Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить мой, например, опыт (я тоже деревенский, жить начинал трудно, голодно, рано пошел работать), то он тоже в этом: главная сила на земле — разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком просто: за этой простотой люди за тридевять земель ходят, ее добывают всей жизнью. Это не просто, просто как раз не понять этого. За тобой право подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда хорошо в жизни (скажем так: не всегда ему лучше всех), ты мог это уже заметить, но за мной право утверждать, что все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего, ты должен тут согласиться.

Что касается мечты... Я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд. Мечта мечтой, а когда мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно, это подороже всякой мечты. И еще: я не доверяю красивым словам. Мечта — слишком красивое слово. Слов красивых люди наговорили много, надо дел тоже красивых наделать столько же, и хорошо бы побольше.

Ты сам хозяин своей судьбы (видишь, и у меня вышло красиво, к сожалению, красиво легче говорить). А кто больше? Знай больше других, работай больше других — вот вся судьба. Это нелегко, это на всю жизнь, но ведь и помини-то мы и благодарны таким только. Кто бы ты ни был — комбайнер, академик, художник, — живи и выкладывайся весь без остатка, старайся много знать, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным — это будет завидная судьба. А когда будешь таким, помоги другим. Я знаю, как это нелегко, я, может быть, тоже размечтался... Помни, что тебе много надо успеть сделать для своего народа.

Материал подготовил Андрей ЯХОНТОВ.



Братья ВАЙНЕРЫ

РОМАН

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ



и поднял свой стакан и сказал:
— Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трехголовый дракон, и башки эти его — трусость, жадность и предательство. Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят дотла. Давай поклянемся, Шарапов, рубить эти проклятушки головы, пока мечи не иступятся, а когда силы кончатся — нас с тобой можно будет и чертям на пенсию выкидать, и сказке нашей конец! Очень мне понравилось, как красиво сказал Жеглов, и чокнулся я с ним от души, и Михал Михалыч согласно кивал головой, и легкая, теплая дымка уже плыла по комнате, и в этот момент очень мне был дорог Жеглов, вместе с которым я чувствовал себя готовым срубить не одну бандитскую голову.

Багровые пятна выступили у него на скулах, бешено горели глаза, и он теребил за руку Михал Михалыча:

— Они и меня могут завтра, так же, как Топоркова, но напугать Жеглова — кишка у них тонка! И я их, выползней мерзких, душить буду, пока дышу!.. И прожину я их всех дольше, чтобы самому последнему вбить кол осиновый в их пога-

ную яму!.. У Васи Векшина остались мать и три сестренки, а бандит — он, гадина, где-то ходит по земле, жирует.

Все вокруг меня плавно, медленно кружилось. Я встал, взял со стола графин, пошел за водой.
— ...Вашей твердости, ума и храбрости мало, — говорил Михал Михалыч, когда я вернулся в комнату и, сделав небольшой зигзаг, попал на свой стул.

— А что же еще нужно? — шурился Жеглов.

— Нужно время и общественные перемены...

— Какие же это перемены вам нужны? — подозрительно спрашивал Жеглов.

— Мы пережили самую страшную в человеческой истории войну, и понадобятся годы, а может быть, и десятилетия, чтобы залечить, изгладить ее материальные и моральные последствия...

— Например? — уже стоял перед Михал Михалычем Жеглов.

— Нужно выстроить заново целые города, восстановить сельское хозяйство, раз. Заводы на войну работали, а теперь надо людей одеть, обувь — два. Жилища нужны, очаги, так сказать, тогда можно будет с безпризорностью детской покончить. Всем дать работу интересную, по душе — три и четыре. Вот только таким — естественным — путем искоренится преступность. Почвы не будет...

— А нам?..

— А вам тогда останутся не тысячи преступников, а единицы. Рецидивисты, так сказать...

— Когда же это все произойдет, по-вашему? Через двадцать лет? Через тридцать? — сердито рубил ладонью воздух Жеглов, а сам он в моих глазах слонился, будто был он слеплен из табачного дыма.

— Может быть... — разводил руками Михал Михалыч.

— Дулю! — кричал Жеглов. — Нам некогда ждать, бандюги нынче честным людям житья не дают!

— Я и не предлагаю ждать, — пожимал круглыми плечами Михал Михалыч. — Я хотел только сказать, что, по моему глубокому убеждению, в нашей стране окончательная победа над преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным ходом нашей жизни, ее экономическим развитием. А главное — моралью нашего общества, милосердием и гуманизмом наших людей...

— Милосердие — это поповское слово, — упрямо мотал головой Жеглов.

— ...Ошибаетесь, дорогой юноша, — говорил Михал Михалыч. — Милосердие не поповский инструмент, а та форма взаимоотношений, к которой мы все стремимся...

— Точно, — язвил Жеглов. — «Черная кошка», она вам помилосердствует...

Я перебрался на диван, и сквозь наплывающую дрему накатывали на меня резкие выкрики Жеглова и журчащий, тихий говор Михал Михалыча:

Продолжение. Начало в №№ 15—18.

— ...У одного африканского племени отличная от нашей система летосчисления. По их календарю сейчас на земле Эра Милосердия. И кто знает, может быть, именно они правы, и сейчас — в бедности, крови и насилии — занимается у нас радостная заря великой человеческой эпохи — Эры Милосердия, в расцвете которой мы все сможем искренне ощутить себя друзьями, товарищами и братьями...

Мы вышли с Петровки около девяти вечера, и ночь, разжиженная желтыми тусклыми огнями на бульварах, непроницаемо расплзлась по окрестным переулкам. Накрапывал мелкий дождь, ветер с грохотом рвал на крышах отстающие листы жести, и мы забко кутались в свои толстые плащи. С Каретного вышли на Колобовский, спустились к цирку, перепрыгнули через забор огромного недостроенного дома, мрачно темневшего провалами оконных проемов. В этом здании должен был разместиться не то какой-то новый театр, не то новый цирк, но из-за войны стройку забросили, не успев положить кровлю, и время обошлось с ним не хуже, чем хороша разбежка. Мне это здание сильно напоминало развороченный собор святого Николая в Берлине, в котором немцы установили противотанковую батарею, и мы их выкуривали оттуда.

Эту заброшенную стройку тоже будто брали приступом — повсюду были навалены груды битого кирпича, дребезжали катушки старых кабельных барабанов, надолбами торчали треснувшие бетонные балки. Мы присели с Жегловым на перевернутый ящик, и я спросил его:

— А кого мы тут ждем?
— Знающих людей... — коротко сказал Жеглов, и мне в темноте показало, будто он усмехается.

— Они нас тут в темноте не углядят, твои знающие люди.

— Я их сам угляжу, — хмыкнул Жеглов.

— Но ведь... — собрался я пуститься в обсуждение, но Жеглов положил мне руку на плечо и шепнул:

— Давай помолчим. Так лучше будет...

И мы с ним молчали. Довольно долго. Пока я вдруг не услышал шорох — сыпавшие обломки под ногами, шаркала подметки по мусору. Я толкнул Жеглова в бок — идут! Глаза мои уже привыкли к темноте, и я увидел, как Жеглов вытянул шею, тщательно прислушиваясь, и осталось у меня слабое утешение — со слухом у меня лучше, чем у него. В черном сумраке я увидел силуэт человека, и Жеглов еле слышно присвистнул два раза — фью-фью! И тот ему ответил так же. Жеглов мне сказал:

— Подожди меня тут...

Он неслышно скользнул в темноте к знающему человеку, и мне тоже было на него любопытно взглянуть, но у Жеглова были, по-видимому, в этом смысле другие планы.

Тихо здесь было, за забором. Из-за домов проникал сюда отсвет фонарей по Трубовой, где-то мягко, вкрадчиво, баском ревнул паровоз, с улицы доносился дребезг колес на разбитой мостовой. И в слабом отсвете я видел четкие фигуры Жеглова и его «знающего человека», будто вырезанные из черной бумаги.

Потом этот человек быстро и незаметно исчез, а Жеглов свистнул и помахал мне рукой.

— Ну, что?

— А ничего! — беззаботно сказал Жеглов. — Не знает он ни хрена...

Было, наверное, уже около полуночи, когда весело насвистывающий Жеглов спустился с чердака шеститажного дома около железнодорожной насыпи у Ленинградского вокзала и сказал:

— Все, можем идти спать. Петя-Ручечник завтра будет в Большом театре...

Я действительно очень удивился и спросил Жеглова, не скрывая восхищения:

— Ну, ты и даешь! А откуда узнал?

— От верблюда! — находчиво сказал Жеглов и потащил меня к трамвайной остановке.

Я подписал кадровичке пропуск на выход и взглянул на часы: половина первого. День проходил в трудах праведных, но совершенно без толку. По списку, который мы составили со следователем Панковым, я вызывал и допрашивал сослуживцев Груздева и Ларисы, и все это было довольно нудно, хотя бы потому, что я не знал толком, о чем их спрашивать. «Что вы можете сказать о нем, как о человеке?», «Какой он работник?», «Известно ли вам что-либо об их взаимоотношениях?» — глупости какие-то. Груздев ведь при всех условиях не был этим самым... Синей бородой — как там ни расспрашивай, убило-то он впервые, и вряд ли советовался об этом с сослуживцами или делился с ними своими переживаниями. А уж о Ларисе и говорить нечего...

Вчера пришла справка на наш запрос о судимостях Груздева — нет, несудим, к уголовной ответственности не привлекался, приводов не имел. Да и то, что он — Кирпич, что ли? Сослуживцы и вовсе в один голос твердят, что мужчина он порядочный, выдержанный, работник замечательный — награды у него и все такое прочее. И вообще — врач, одно слово, человек, значит, к таким делам неспособный. Что от жены ушел, не таил, сказал только, что она нашла себе другого человека... Так с кем, знаете ли, не бывает, дело житейское. А угрозы каких в ее адрес или чего-нибудь подобного — боже упаси! И Ларисины сослуживцы показывают, что никаких жалоб на Груздева от нее сроду не слышали, наоборот, даже когда он от нее съехал, говорила она как-то, что таких порядочных мужчин нынче поискать...

К часу я вызвал почтальоншу — тут еще одна штука любопытная. Я начал с бумагами Ларисиными разбираться, до писем руки не дошли, а телеграмма одна попала в интересная: время прибытия указано двадцатого сентября в восемьнадцать часов ноль пять минут. «МУСЕНЬКИН ВЫЕЗД ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДЕКАБРЯ ЦЕЛЮЮ ТЕТЯ ЛИЗА», — мне Надежда дала объяснение: это должна была приехать по делам их родственница из Семипалатинска, да что-то помешало. А вот с временем доставки я хотел разобраться абсолютно точно: по нашим-то сведениям, если почтальонша телеграмму принесла вовремя, она могла застать в квартире Груздева...

Разговор с почтальоншей у нас состоялся короткий, но вещи выяснились удивительные.

— Квартиру эту я хорошо знаю, — сказала она, водрузив на остренький носик больше, должно быть, мужские очки и раскрывая разносную книгу. — Слава богу, не первый год корреспонденцию доставляю на этот участок. Вот поглядите — телеграмма Груздевой Ларисе из Семипалатинска. Время доставки — девятнадцать двадцать, число — 20 сентября, и подпись ее — Ларисы, собственноручная.

До меня даже не сразу дошло — что же это получается-то? Ведь этого никак не может быть: сосед Липатников видел выходящего из дома Груздева после матча, то есть в девятнадцать часов плюс — минус несколько минут. Этот момент и есть предполагаемое время убийства. А еще через двадцать минут Лариса лично принимает телеграмму и расписывается в книге. Не выжется, никак этого не может быть!

— Вы уверены, что доставили телеграмму именно в это время?

— Сроду на меня жалоб не было! Да и живу я в соседнем доме, так что доставляю все без задержки! — обиделась почтальонша.

— А может, кто другой принял телеграмму, не Лариса?

— Да нет, она сама, лично, я же вам говорю. Знала я ее хорошо, тут никакой ошибки! Она еще всегда пригласила чайку выпить, приятная очень женщина, вежливая, обходительная...

— Вы не обратили внимания, она в обычном была состоянии или, может, возбуждена, расстроена?

— Ой, что вы! Наоборот, очень веселая была, все напевала что-то, затанцевала меня на кухню — у них коридорчик очень маленький... Там, на кухне, она и телеграмму при мне прочитала, и написала, только что чаю не предложила — я потому и заметила, что она обычно-то предлагает.

— А в квартире никого не было?

— Не было никого, точно — двери в комнату настежь были, и там — никого... — уверенно сказала почтальонша.

Да-а, озадачила меня эта история с телеграммой! Если сосед Липатников не ошибается, то Груздев вышел из дома, когда Лариса была еще жива. Притом находилась одна в квартире. Но если Груздев вышел, оставил Ларису в живых, то почему он врет, что не был там вовсе? Почему опровергает показания соседа? Надо обязательно поговорить с Глебом. Да и его, наверное, эта история озадачит: он-то полагал, что все здесь проще репы, а получается...

Глеб толкует, что Груздев убил Ларису из-за квартиры, ну и попутно вешнички забрал. Но тогда при чем здесь Фокс этот самый? Разве что Груздев действительно нанял его и назначил плату как раз вешнички? Но зато сколько народу вокруг допрошено — и никто никогда около Груздева не видел человека с приметамы Фокса. Конечно, сговор подобный — дело тайное, но и то нужно взять в рассуждение, что сплутать им негде было — просто уму непостижимо, поскольку Фокс, безусловно, уголовник, бандюга, а Груздев — интеллигент, доктор, и ничего меж ними общего не должно быть. Хорошо бы, конечно, самого Груздева спросить, но еще неизвестно, как посмотрит на это Жеглов: у него ведь следствие — это не просто кой-чего, а стратегия и тактика...

Позвонил баллист.

— Из этого «байрда» стреляли, — сразу же сообщил эксперт. — Безусловно и категорически. Из-за того, что патрон нестандартный — он побольше немного, чем фирменный — все индивидуальные признаки оружия выявились особенно рельефно, хоть в учебник криминалистики снимки помещай. Акт подошел, как договорились. Приветик...

— Если хочешь, можем пешком пройтись, — предложил Жеглов.

Вечер был ясный, теплый, и мы не спеша пошли с ним по Петровке к центру.

— Эх, кабы нам с тобой заловить сегодня Ручечника... — сказал мечтательно Жеглов.

— Трудно небось...

— Что значит трудно? Наша работа, как и его промысел, зависит от удачи. У меня вся надежда на то, что он нас с тобой в лицо не знает.

— А ты его знаешь?

— Видел я его. И потом, напарница его найти поможет, — усмехнулся Жеглов.

— Это как понять?

— Ну, когда вымотришь самую красивую женщину в театре — значит, где-нибудь и он поблизости шляется.

— Почему?

— А у него метод такой — он на подхвате только красавиц держит. Приходит они в театр или в коммерческий ресторан и начинают пасти парочку в дорожных шубах. При первой возможности он вынимает у кавалера номерок от гардероба, а красулька его получает шубу. И отваливают. Вот и весь фокус...

В театр мы вошли через служебный вход, где с Жегловым стал препираться толстый взмыленный администратор в очках, сдвинутых на затылок. Но Жеглов как-то очень быстро его окоротил: взял за пуговицу и, подтягивая к себе с такой силой, что нитки трещали, сказал:

— Вы мне не контрамарки дадите и даже не билеты, а записку к капельдинеру с распоряжением посадить меня там, где я ему скажу. И делайте это, почтеннейший, незамедлительно, у меня нет для вас времени...

— Сумасшедшие люди! — взмахнул руками администратор. — Вы что думаете, что я месга из воздуха делаю?

— Я об этом ничего не думаю! — оборвал его Жеглов. — Меня это не интересует! Мне на ваши танцы-арии вообще наплевать, сроду бы я к вам не пошел, если бы меня не привело сюда дело государственной важности...

От такого святотатства в храме искусства администратор слегка обалдел, он молча смотрел на Жеглова, разевая беззвучно рот, будто Жеглов у него весь воздух отобрал.

Минут за сорок до начала «Лебединого озера» мы устроились с Жегловым в гардеробе — за большущим пожарным шкафом; мы стояли за

ним, просматривая почти весь длинный проход перед барьерами, за которыми сновались чистенькие старички и старушки в вишневой униформе с желтыми табличками на карманах — «ГАБТ».

Я уж совсем отчаялся повысить свой культурный уровень, к чему призывает меня Жеглов на комсомольском собрании, когда он силно сказал:

— А вот и красавец наш пожаловал...

Ручечник был похож на иностранца — в замечательно красивом сером костюме, в белой глазированной рубашке с полосатым галстуком, на котором ярко искрилась булавка, в толстых башмаках «шимми» и с красивой палкой, на которую он грузно опирался.

— Он что, хромой? — спросил я Жеглова.

— Ну да! Ты с ним побегай наперегонки! Он трость для понту носит, солидности добирает!

Настоящим иностранцем выглядел Ручечник. Вот только его женщина была не похожа на сухоногих очкастых жен дипломатов — была она белая, ленивая, невероятно красивая, с огромной короной из темно-русских кос. Ручечник подал ей руку, и они чинно пошли по гардеробу к выходу в фойе, ни дать ни взять — варяжский гость прибыл. Лишь ненадолго задержались они в толчее у гардероба, где раздевались зрители из ложи бушюара.

Жеглов дернул меня за руку:

— Ну-ка, давай! Ходу!

Мы пристроились за ними и так и слонялись метрах в десяти до самого звонка. Жеглов велел мне не спускать с них глаз, исчез на несколько минут, и я видел, как он тряс за лацкан администратора. Не знаю, что он ему говорил, но, во всяком случае, когда мы подошли к ложе номер четыре, капельдинер пропустил нас без звука на два свободных места в глубине ложи. С этого места мне не очень хорошо было видно всю сцену, потому что она была огромная — высотой этажей в пять, наверное, но зато из сумеречной глубины нам было хорошо видно Ручечника с его дамой, которые сидели точно в такой же ложе, но на противоположной стороне зала.

Играла прекрасная музыка, потом раздвинулся огромный занавес, расшитый темно-золотыми колосьями, и открылся исключительной красоты вид. Чего там только не было: старинный замок, заснеженные горы, озеро — как настоящее. Не знаю, сколько прошло времени, но так нравилось мне представление, что показалось, будто промелькнуло оно в один миг, как из окна мчащегося поезда; жаль только, Варя ничего этого не видела. Жеглов толкнул меня сильно в бок, я встрепанно помотал головой, взглянул в ложу напротив — Ручечника с его красавицей там не было.

Жеглов уже выходил из ложи в коридор, я проскользнул за ним следом, наши соседки, по моему, и не заметили, как мы исчезли. Жеглов быстро шел по коридору, говоря мне на ходу:

— Я возьму Ручечника, он где-нибудь неподалеку пасется, а ты дай ей надеть шубу. Перехвати у дверей и зови сразу гардеробщиков...

Она шла мне навстречу, высокая, шикарная, с развевающимися полами переливчато-блестящей коричневой шубы, голова ее была гордо закинута назад, и она небрежно помахивала сумочкой на ремешке с таким видом, будто, мол, сто раз я видела такие балеты, не понравилось мне... — стало быть, сидеть тут скучая и не подумай! От мысли, что мне надо ее арестовывать, всю такую из себя прекрасную, я даже обрел, у меня не только вроде нее знакомых сроду не бывало, но и разговаривать с такими королевами не доводилось. Но все-таки сказал я довольно твердо:

— Подождите, гражданочка, мне поговорить с вами надо...

Не останавливаясь, вздернув еще выше голову, она бросила мне на ходу:

— Я с неизвестными мужчинами не разговариваю!

И почему-то эти слова сняли с меня неловкость, расслабилось ощущение, что я совершаю какую-то глупость и все это вообще происходит по недоразумению. Я взял ее под руку и сказал:

— Я незнакомый мужчина из МУРа, так что поговорить придется, — и уже манил к себе седеющего прилизанного гардеробщика.

А она вдруг сделала неуловимое движение, струйкой воды брызнула из скользкой шубы и уже почти успела сбросить ее, но я крепко держал за локоть, так что номер не вышел: шуба повисла на ее правой руке.

— Очень я вас прошу, не устраивайте, пожалуйста, фокусов, мне будет совестно к вам принимать силу, — сообщила ей и повернулся к гардеробщику: — Эта женщина взяла чужую шубу, я вас прошу пройти со мной к администратору...

Сказал и сам пошел, потому что старичка чуть удар не хватил. Краска волнами заливала его лицо — он бледнел, синел, багровел, причитая тонким голосом:

— Душегубцы! Злодеи! Да нам за эту норку десять лет не расплатиться. Сволочь! А какая причлиная с виду!..

Он блажил, а я не знал — волочить ли мне мою красавицу или старика на руки брать. Но в этот момент из-за угла появился Жеглов, и я понял, что его-то проблемы все уже решены: завернул Ручечнику кисть правой руки за спину болевым приемом, он в очень быстром темпе гнал его перед собой по коридору, не обращая внимания на крики и угрозы, что сейчас сюда придет городской прокурор и нас, как собак, выгонят со службы к чертовой матери... В левой руке у него болталась шегольская трость, которую бросить он не решился — маскарал поломается, но картина от всего этого получалась совершенно и окончательно нелепая.

— Пусть гардеробщики подождут, не отпускайте их, — крикнул администратору Жеглов, снял телефонную трубку, вызвал дежурную часть и велел пригнать «фердинанда». — Пусть Пасюк с Тараскиным едут сюда тоже, им сейчас найдется работа.

Одной рукой он держал трубку, а другой перевернул сумку воровки и вытряхивал из нее на стол все, что там было.

А я смотрел на соучастников — лица у них были отчужденные, будто полчаса назад не они шли под руку, тесно прижимаясь друг к другу, — совсем незнакомые, чужие люди, испытывающие вза-

иную неприязнь оттого, что свело их вместе противное случайное обстоятельство.

Жеглов рассматривал какой-то пропуск или удостоверение на имя Волокушина, выпавшее из сумки, потом потянулся, погулял кошками мышиц на плечах, будто разминался после короткой схватки с Ручечником, весело заулыбался и сказал:

— Ну-с, дорогие мои граждане-уголовники, приступим к нашим играм!

И Ручечник и Волокушина даже не посмотрели на него, а ему хоть бы хны — видно было, что совсем его не обижает воровское пренебрежение, и он, быстро выбив пальцами дробь на полированном столе, как на барабане, спросил:

— Вы мне разрешите раскрыть вам одну маленькую служебную тайну?

Ручечник и его расприкрасная дама и бровью не шевельнули, но Жеглова это, наверное, устраивало, поскольку он по-прежнему дружелюбно, почти по-товарищески продолжил разговор:

— Молчание — знак согласия. Так, по-моему, говорится? Значит, очень я вам признателен за то, что вы согласились меня выслушать. В первую очередь это касается вас, гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему. Жаль, что я не художник, а то бы я с вас картины писал...

Волокушина зло усмехнулась уголком рта, но особого испуга и в ней не заметил. А Жеглов разгляделся соловьем:

— Когда замечательный молодец Петр Ручников уговаривал вас, Волокушина, совершить с ним первый «вынос», вы, как всякая женщина, естественно, сильно боялись, плакали и говорили, что никогда этого не делали. А он отвечал, что все раньше никогда этого не делали, надо просто попробовать, и вы убедились, до чего это легко и просто, поскольку вам и делать-то нечего, — главное в его умении взять номерок у «фрейера ушастого». Вы это помните, Волокушина?

Жеглов заглядывал ей в глаза добро и заботливо, как исповедник заблудший овца, а она упорно отворачивалась от его взгляда, и только мочки ушей начали наливать тяжелым багровым цветом.

— Значит, помните, — удовлетворенно вздохнул Жеглов. — Но вы ему еще не совсем верили, и он вам даже уголовный кодекс показывал, доходливо объяснял, что за кражу личной собственности полагается штрафник — это уж в самом пиковом случае, а с его мастерством да с вашей красотой и случая такого никогда быть не может. И однажды уговорил...

— Тебе бы, мент, не картины, а книжки писать, — сказал неожиданно из своего угла Ручечник, тяжело двинув нижней челюстью.

А Жеглов будто забыл про Ручечника, журчал его баритончик над ухом у Волокушина, и слушала она его все внимательнее.

— С этого момента возникло преступное сообщество, именуемое «шайкой». Я уже вел подбирать материалы по кражам в Третьяковской галерее, в здании театра «Эрмитаж», в филармонии в Ленинграде — с этим мы позже будем разбираться. Но сегодня вышла у вас промашка совершенно ужасная, и дело даже не в том, что мы сегодня вас заловили...

— А сегодня что, постный день? — подал голос Ручечник.

— Да нет, день-то обыкновенный, скоромный. А вот номерок ты не тот ляпнул...

— Это как же? — прищурился на него насмешливо Ручечник.

— Вещь-то вы взяли у жены английского дипломата. И, по действующим соглашениям, стоимость норковой шубки тыщонкой под сто — всего-навсего, — должен был бы им выплачивать Большой театр, то есть государственное учреждение. Ты, Ручечник, понимаешь, про что я толкую?

— Указ «семь» «восемь»... — ни на миг не задумался Ручечник.

Жеглов воздел руки вверх, совсем как недавно это делал здесь администратор.

— Я шью? При чем здесь я? Поглядел бы ты на себя со стороны, ты бы увидел, что Указ от седьмого августа, то, что ты «семь» «восемь» называешь, уже у тебя на лбу напечатан! — Сделал паузу и грустно добавил: — И у подруги твоей Волокушиной — тем паче! По десятке!

— А тебе-то какая забота про нас думать? Ты чего от нас хочешь?

— Помощи. Советов. Указаний, — коротко и спокойно сказал Жеглов.

— Не понял, — хрипло бормотнул Ручечник.

— Чего непонятного? Я с вами был откровенен. Теперь хочу, чтобы ты со мной пооткровенничал про дружку твоего Фокса... — Жеглов говорил легко, без нажима, даже весело, и так это звучало, будто пустяковее не было у него на сегодня дел.

— Плевал я на твою откровенность! — так же легко сказал Ручечник.

— Невоспитанный ты человек, Ручечник, Прощу тебя выразиться при женщинах прилично, а не то я тебя очень сильно обижу. Огорчу до невозможности!

— Ты меня и так уже обидел! — хмыкнул Ручечник. — Ты объясни, мне-то какой резон с тобой откровенничать?

— Полный резон. Ты мне интересные слова шепчешь, а я вешаю на место шубу.

Ручечник сидел на стуле, опустив руки между колен, и долго тяжело думал. Потом поднял голову:

— Ничего я тебе не скажу. Не купишь ты меня на такой номер. Так что я лучше помолчу, здоровее буду...

— Здоровее не будешь, — заверил Жеглов. — Снимешь свой заграничный костюмчик, наденешь телогреечку и — на лесосеку.

— Может быть, — пожал плечами Ручечник.

Жеглов встал, сложил руки на груди и стоял, рассказывая с пятки на носок, внимательно глядя на Ручечника, и длилось это довольно долго, пока Ручечник не выдержал и тонко, с подвизгом крикнул:

— Ну, что пляшешь! Я вор в законе, корешей не продавал, да и тебя не боюсь!

Жеглов помолчал, потом задумчиво сказал:

— Я вот как раз сейчас и думаю о том, что ты закона опасаться меньше, чем своих дружков-бандог.

— Шарапов, проводи его на улицу, — кивнул мне Жеглов и еле слышно, одними губами добавил: — До автобуса...

Я вытолкнул Ручечника в коридор, и он все еще двигался сонным, заплетающимся шагом, но мы не прошли и половины коридора, как он повернулся ко мне:

— Спасибо, я дорогу знаю...

— Да нет уж. Со мной будет надежнее, — пообещал я и увидел, что навстречу идут Пасюк и Тараскин. — Вот вам особо ценный фрукт...

— Это что за персонаж? — поинтересовался Тараскин.

— Настоящий уголовный кореш. Он Фокса сдавать не хочет, а женщину, которую втравил в уголовницу, оставил за себя отдуваться.

— Отведи его в «Фердинанд» и подожди нас — мы скоро все придем. На обсык поедем к ним домой...

— Меня отпустили! — заблажил Ручечник. — Не имеешь права меня задерживать — тебе старший приказал!

— Иди-иди, не рассуждай, — сказал Тараскин. Я вернулся назад, в кабинет администратора. Жеглов устроился на ручке кресла, в котором сидела Волокушина, и голос у него был такой, будто она в парке на скамеечке про жизнь и про чувства свои высонке беседует.

— Светлана Петровна, вы мне глубоко симпатичны, только поэтому я веду с вами эти занудные разговоры. Вы поймите, что проще всего мне было бы отправить вас сейчас в тюрьму, а дней через двадцать ваше дело уже кувыркалось бы в суде. Вы ведь не маленькая, сами понимаете, что с того момента, как вас предал Ручечник, нам и доказывать нечего — задержали вас в манто, пять свидетелей — «встать, суд идет!»

— Чего же вы от меня хотите? — спрашивала она, и все ее лицо расплывалось, тепло, слонилось от обильных слез. И все равно она была ужасно красивая, может быть, даже сейчас, несчастная и заплаканная, она была еще лучше.

— Чтобы вы сами себе помогли в суде, а путь для этого у вас только один. Абсолютно чистосердечным раскаянием, рассказом обо всем, что вас связывало с позорным прошлым, вы расчистите себе дорогу к новой жизни...

В общем-то Жеглов объяснял правильно, но меня удивляло, что он все это проповедует болно уж красиво, в таких возвышенных тонах, и я никак не мог сообразить — то ли у него на это есть расчет какой-то, то ли просто не может удержаться, чтобы не погарцевать маленько перед очень привлекательной женщиной, пуская хоть и воровкой.

— Я расскажу о всех... о всех... — Она явно не реласалась выговорить «кража» и все подыскивала какое-нибудь подходящее, не такое ужасное слово. — Обо всех случаях, когда мы брали... чужое...

— Верю! — вскопчил с ручки кресла Жеглов. — Верю, что вы многое поняли и сможете пройти через этот отрезок вашей жизни, как через ужасный сон. Но для начала у меня к вам вопрос — я хочу еще раз проверить вашу искренность!

— Пожалуйста, спрашивайте!

— Вы ведь не одиножды вместе с Ручечником встречали Фокса? Когда это было последний раз?

— Мне кажется, это было дня три назад. Или четыре.

— Где?

— В коммерческом ресторане «Савой».

— Фокс был один?

— Нет, с Аней...

— Кто назначал встречу в «Савое» — Ручечник или Фокс?

— Фокс. Я это точно знаю, Ручечник говорил с ним по телефону.

— А кто кому звонил?

— Фокс ко мне домой позвонил, и я слышала, что Ручечник его спросил: «Где встретимся?»...

— А сколько раз вы видели Фокса?

— Она покала плечами:

— Точно я не помню, но, наверное, раз пять... Они ведь с Петром вроде дружок.

Жеглов наклонился к ней вплотную и спросил задумчиво:

— Светлана Петровна, а может быть, делишки у них есть общие?

— Нет, нет, я уверена, что Ручечник ни с кем никаких дел не имеет. Он мне всегда говорил, что у него специальность ювелирная и компаний ему не надо...

— А Аня, она всегда с Фоксом бывает?

— Я смотрел на Жеглова — очень хорошо он допрашивал, в его вопросах не было угловатой протокольной жесткости.

— Аня? — переспросила Волокушина. — Кажется, всегда. Она ему жена, Или любовница, точно уж не могу сказать.

— А где живут они?

— Волокушина руки прижала к груди:

— Честное слово, не знаю!

— Они при нас разговаривали о своих делах?

— Ну, как-то так, между прочим. Они вообще о своих делах мало говорили. Но и от нас вроде бы не таились...

— Понятно... — протянул Жеглов. — Понятно... А чем Аня занимается?

— По-моему, она на железной дороге работает.

— На железной дороге? — Жеглов вцепился в нее бульдогом. — Кем — стрелочницей, проводницей, кочегаром?

— Нет, что вы! Она как-то говорила, я не придала этому значения, про вагон-ресторан. Может быть, она официанткой работает? Или на кухне?...

— На кухне, на кухне, на кухне, — быстро повторил Жеглов, потом поднял на меня взгляд, через голову Волокушиной спросил: — Володя, смекаешь?

— Продукты с базы и магазина, — сказал я.

— Это ведь Эльдorado, Клондайк, золотые россыпи — через вагон-ресторан пропустить такую тьму продовольствия, — начал головой Жеглов, потом поднял тяжелый взгляд на Волокушину и сказал очень внушительно: — А теперь вспомните, Светлана Петровна, очень старательно, изю всех сил припомните — от этого, может быть, вся ваша судьба зависит... Как они связывались — Ручечник с Фоксом?

В глазах у Волокушиной была затравленность насмерть перепуганного животного.

— Ручечник звонил пару раз Ане по телефону, — срывающимся голосом говорила Волокушина. — Но обычно Фокс сам звонил ко мне домой...

— Так, хорошо, — мотнул головой Жеглов. — Давайте, давайте, припоминайте, о чем говорил Ручечник с Аней по телефону?

— Я не уверена, но мне кажется, что он с ней и не разговаривал...

— А как же?

— Он говорил, один раз я это точно слышала: передайте Ане, что звонил Ручечник. — И я видел, что Жеглов добился от нее искренности, она сейчас наверняка говорила правду.

— И что, Аня перезванивала вам после этого?

— Нет, после этого звонил Фокс, мне кажется, что Аня никогда к нам не звонила...

— Прекрасно, прекрасно, очень хорошо, — бормотал себе под нос Жеглов, потом быстро спросил: — Как выглядит Фокс? Внешность, во что одевается?

— Волокушина, припомни внешность Фокса, задумалась, а Жеглов подошел ко мне и шепнул:

— Отвези Ручечника на Петровку и выдай из него телефон Ани. Чтобы телефон был — во что бы то ни стало! «Фердинанд» сразу верни за нами...

Я задержался в дверях, потому услышал слова Волокушиной:

— ...Всегда ходит в военной форме без погон, но форма дорогая, как у старших офицеров. И на кителе у него орден Отечественной войны. И две нашивки за тяжелые ранения...

— Это меня почему-то очень разозлило и даже как-то обидело — тварь такая, носит ворованный орден и лычками за мою кровь торгуется!

И весь свой заряд злости на Фокса я разрядил в Ручечника. Он сидел с очень гордым и обиженным видом на задней скамейке в нашем автобусе.

Я подошел к Ручечнику и негромко сказал:

— Встать!

Он сердито и удивленно посмотрел на меня и, покрываясь красными пятнами досады и озлобления, крикнул:

— Ты тут не командовай! Найду на вас, псов проклятых, упрашу!

— Фоксу, что ли, на меня пожалуешься? — спросил я его серьезно и дернул за ворот красивого серого макинтоша: — Встать, я тебе сказал!

Он, видимо, сообразил, что у меня рука не легче, чем у дружка его Фокса, и проворно вскопчил, злобно бубня себе что-то под нос. Я сказал Копытину:

— Давай на Петровку, — и стал быстро обсыкивать Ручечника. В кармане у него нашел большой шелковый платок и велел Тараскину свернуть его кулечком. Все остальное из карманов складывал в этот узелок. А себе оставил только его записную книжку — в красном кожаном переплете, с фигурным зажимом-замочком и маленьким золотым карандашиком. Необычная это была книжечка — на всех страницах алфавита только номера телефонов, без имен и фамилий. Штук сто номеров, и некоторые из них были с какими-то пометками — галочками, звездочками, крестиками, восклицательными знаками. Проверять их все — на месяц кротовни хватит. Но, правда, нам сейчас проверить их все и не надо было, этим можно будет позже, не спеша заняться. Две страницы меня заинтересовали — на «А» и на «Ф». Я рассуждал таким образом: если телефон Ани записан не на ее имя, а на имя Фокса и подлинное имя его, уж конечно, не Фокс, то и Ручечник наверняка не должен знать его имени. Так что или на «А», или на «Ф».

Автобус остановился на Каретном переулке, я взял Ручечника под руку и сказал ему таким тоном, будто мы уже с ним обо всем договорились заранее:

— Идем, Ручечник, сейчас мы с тобой Ане наберем, попросим к нам звякнуть.

Он дернулся, вроде бы руку хотел вырвать, но я его держал железно и тащил быстро за собой в подъезд. И он бормотал только:

— Вот ты ей сам и звони и сам договаривайся...

На страничке «А» было три телефона, а на страничке «Ф» один. И пока шли по лестницам и коридорам, я быстро соображал, на какой номер мне надо точно указать Ручечнику, чтобы валить его одним ударом.

Скорее всего нужным мне телефон на букве «Ф», поскольку Ручечника Аня несколько не интересуется, это канал связи с Фоксом, он по нему Фокса достигаешь, а не договаривается о чем-то с Аней. С другой стороны, телефон, конечно, может оказаться и на страничке «А», если учесть, что у номеров он не пишет имен и если нарушить систему, то можно легко запутаться.

И все-таки я думаю, что на «Ф» — Волокушина ведь говорит, что Ручечник никогда не разговаривал с самой Аней, а просил передать, что он звонил. А звонил после его сигнала Фокс, а не Аня и, наверное, не случайно, потому что Ручечник звонил всегда Фоксу, Фоксу, а не Ане! В общем, себя-то я убедил...

И прямо с дверей кабинета я сказал Тараскину:

— Коля, не хочешь позвонить очень милой женщине? Если поправиться ей, она тебя в вагоне-ресторане покатает, до отвала накормит...

— Всегда пожалуйста, — согласился Коля. — Давай номерок, наладим связь!

Я заглянул в книжку, на страничку «Ф», и с замирающим от ужаса сердцем сказал:

— Номерок такой: К-4-89-18, — захопнул книжку и спросил у Ручечника: — Ну, что нам передать от тебя Ане? Привет? Или Фоксу поклон?

Ручечник скрипнул зубами, и я понял, что попал в цель.

Он начал длинно, забористо ругаться, я понял, что сейчас-то уж мы из него ничего не вытянем, и отправил его в камеру. А вскоре приехал Жеглов. Он сел на свое место за столом, набрал номер телефона:

— Пасюк, это ты? Да. Не кончился еще спектакль? Ага! Значит, когда появится этот англичанин, проводи его вежливо и администратору, оформи заявление, протокол опознания шубы составь и возьми у них обязательно расписку, что шуба ими получена в полной сохранности. А какие еще разговоры? Ты ему тогда скажи, что у них там, в Англии, воруют не меньше. Да-да. И право-порядок определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать! Вот так, и не иначе! Потом заботи в дежурную часть, дай на нашу группу расписку... Ну, привет...

Он положил трубку, прикрик на миг глаза и спросил глухо:

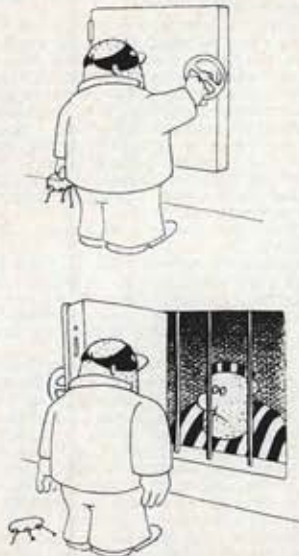
Рисунок Сергея ТЮНИНА



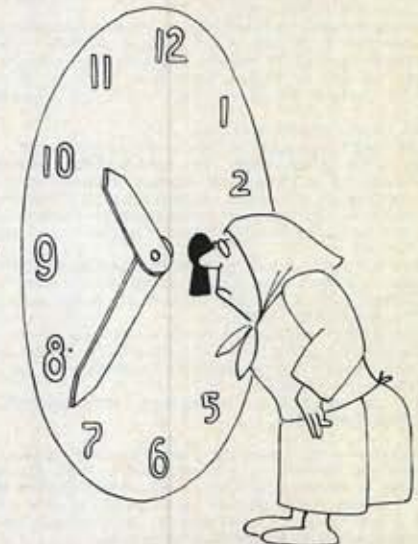
Рисунок Игоря УЛЬЯНОВА



Рисунок Александра АРТЕМОВА



Рисунки Валерии АШМАНОВОЙ



ШАХМАТЫ

Под редакцией заслуженного тренера РСФСР Виктора ЛЮБЛИНСКОГО

ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ

ТАК СРАЖАЛИСЬ НА СПАРТАКИАДЕ

Крупнейшим по масштабу шахматным соревнованием нынешнего года был, бесспорно, турнир VI летней Спартакиады народов СССР в Риге. 25 гроссмейстеров и свыше ста мастеров во главе с чемпионами мира Анатолием Карповым и Ноной Гаприндашвили вышли на старт спартакиадных поединков. А всего в 17 командах было заявлено 170 шахматистов!

Командную победу завоевала сборная Российской Федерации, набравшая в финальной пультке 30 очков из 45 возможных и на солидную дистанцию в 6½ (!) очков опередившая ближайших соперников. В составе команды, удостоенной золотых медалей, выступали представители Московской области известные шахматисты — гроссмейстеры Л. Полугаевский, Е. Геллер, А. Суэтин и Р. Холмов, гроссмейстер из Саратова Н. Крогиус, мастера В. Цешковский и А. Кислова из Омска, Е. Свешников (Челябинск) и В. Козловская (Пятигорск).

На второе место вышла команда Украины во главе с молодым гроссмейстером из Львова чемпионом СССР А. Белявским. Третье призовое место заняли шахматисты Ленинграда, лидером которых был А. Карпов. В главном финале Спартакиады боролись также команды Грузии (в ее составе отлично играли лучшие шахматисты страны и мира Н. Гаприндашвили и Н. Александрия, Москвы (честь столицы не очень удачно

защищала мощная дружина, в том числе пятеро гроссмейстеров) и Латвии (этот дружный коллектив возглавляли экс-чемпион мира М. Таль и гроссмейстер А. Гипслис).

Более шестисот шахматных партий было сыграно на Спартакиаде, и большинство их весьма интересно и содержательно.

Демонстрацию спартакиадных фрагментов начинаем с творчества обладателя мировой шахматной короны, который добился, как и следовало ожидать, наилучшего показателя среди основных «забойщи ко в» команд.



Перед вами позиция, возникшая во встрече Ленинград — Белоруссия между А. Карповым (у него были белые) и молодым минчанином В. Купрейчиком после 31-го хода черных. Тонким маневрированием и смелой жертвой пешки белые концентрируют свои силы для нанесения решающего удара. Не сделав ни одной явной ошибки, черные менее

чем через десяток ходов оказались в безнадежном положении — сражаться с чемпионом мира далеко не просто!

32. Kd4—b5! Le8—e2 33. Cc2—d3! Le2:b2 34. Фf4—g5 Kpg8—g7 35. Ld1—f1 Фb6—c6 36. Фg5—c1! Lb2—a2 37. Фc1—c4 La2—d2 38. Cg3—f4 Ld2—b2 39. Фc4—c3! Lb2—b4 40. g4—g5. Предотвратить крупные материальные потери черные не в состоянии.

40. ... Cc5—d4 41. Фc4:c6 b7:c6 42. Kb5:d4, и черные капитулировали.



Здесь вы видите позицию, к которой после 26-го хода белых пришла партия матча РСФСР — Москва между Л. Полугаевским (он играл черными) и капитаном сборной столицы В. Смысловым. Энергично действуя, черные активизировались и завоевали одну из неприятельских пешек.

26. ... b5—b4! 27. Kc3—a4 Kc7—b5 28. Cb2:d4 Kb5:d4 29. Le1—e3 Le8:e3 30. f2:e3 Kd4:b3 31. Фd2—e2 Фf5—e4 32. Kpg1—h1 c5—c4! Стремительный марш этой про-

ходной пешки быстро решает исход сражения в пользу черных.

33. Lh1—f1 Lb8—f8 34. Lf1: f8 + Kpg8:f8 35. Ka4—b6 c4—c3 36. Фe2—f1+ Фe4—f5 37. Фf1—c4 c3—c2! 38. e3—e4 Фf5—f2, и белые сложили оружие.



А на этой диаграмме изображена ситуация, создавшаяся после 15-го хода черных в матче Украина — Таджикистан между А. Белявским и Л. Слуцким. Молодой львовянин, игравший белыми, сочетая хитроумные тактические находки с умелым лавированием, легко переиграл партнера.

16. Lf3:f6! h6:g5 17. Lf6—f2 Cc8—d7 18. Cc4—d3 La8—c8 19. Фc2—d1! Cd7—e6 20. Фd1—h5 f7—f5 21. g2—g4! Фe7—d7 22. g4:f5 Ce6:f5 23. Cd3—c4+ Cf5—e6. Следует несложная, но изящная комбинация, ведущая к завоеванию фигуры.

24. d4—d5! Ce6:d5 25. Lf2—d2 Kc6—d4 26. Cc4:d5+ Фd7:d5 27. c3:d4 c5:d4 28. Cc1—b2 d4—d3 29. Фh5—g6! Lc8—c7 30. Фg6:d3, и черные сдались.



Надолго запоминается победоносная атака, которую отменно провел молодой лидер команды Армении гроссмейстер Р. Ваганян против экс-чемпиона мира москвича Т. Петросяна. В позиции на диаграмме на очереди 19-й ход игравшего белыми Р. Ваганяна. Он осуществил молниеносную переброску ферзя на королевский фланг и создал опасные угрозы короткой рокировке соперника.

19. Фe2—e3! Lf8—d8 20. Фe3—h3 g7—g6 21. Le1—e3 Kf6—h5 22. Ke5—g4 Ld6—d4! Известный тактический прием Т. Петросяна, имеющий целью ценю качества (ладьи за слона) перехватить инициативу, на этот раз не сработал.

23. Cc3:d4 c5:d4 24. Le3—e5! f7—f5 25. Kg4—h6+! Kpg8—g7 26. Le5:e6 Kpg7:h6. Смело пожертвовав коня, белые теперь хотят красивой жертвой ладьи объявить мат в два хода. Их атака стала неотразимой.

27. Фh3:f5 Ld8—g8 28. La1—e1! Ce7—d6 29. g2—g3 Ca8—b7 30. h2—h4!, и черные сдались.

Наш адрес: 101457, ГСП, Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Телефон для справок: 253-30-87. Рукописи, фото и рисунки не возвращаются.

Сдано в набор 19/VIII 1975 г. А 00913. Подписано к печати 9/IX 1975 г. Формат 70 × 108½. Усл. печ. л. 5,60. Уч. изд. л. 11,55. Тираж 1 200 000 экз. Изд. № 2243. Заказ № 1048. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

ГОДЫ СПУСТЯ

Музыка Павла ЕРМИШЕВА.
Стихи Сильвы КАПУТИКЯН.

Я образ твой хочу сберечь.
Я не хочу с тобою встреч.
Порой спешу с пути свернуть,
Чтоб не столкнуться где-нибудь.
И я хочу, любимый мой,
Чтоб в памяти ты жил моей,
Как был ты той зимой,
Той давней ночью.

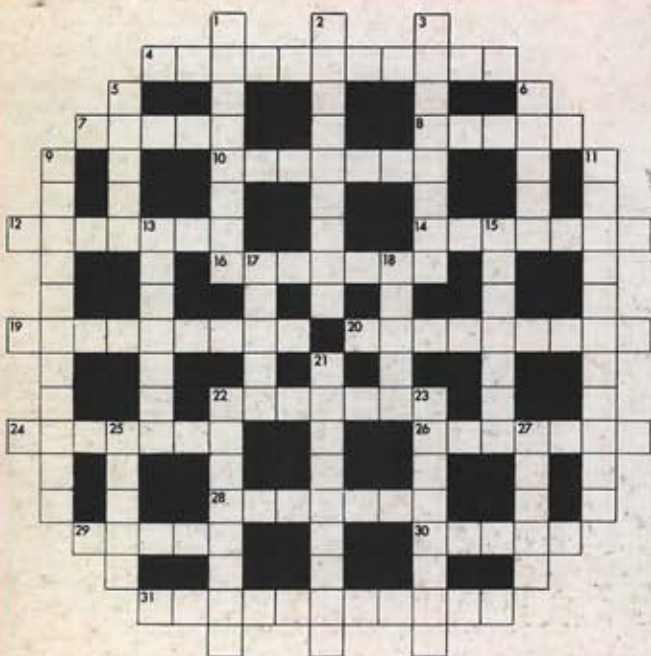
Хочу, чтоб, как тогда, любил
И той же синью цвел твой взор,
Чтоб ты нежнее снега был
И жег сильнее, чем костер.
Чтоб таяла опять зима
От губ твоих, от слов твоих,
Чтоб верила сама я
Их горению.

Казалось мне тогда: ты мог
Забить и славу и себя
И мир восторгов и тревог
К ногам моим сложить, любя.
Я образ твой хочу сберечь,
Я не хочу с тобою встреч,
С тобой, совсем другим,
Чужим, далеким.

И я хочу, любимый мой,
Чтоб в памяти ты жил моей,
Как был ты той зимой,
Той давней ночью.

Перевод
Ирины СНЕГОВОЙ.

В НАЧЕПЕ ТАНГО.



КРОССВОРД

Составил М. АМЕЛЬКИН,
г. Москва

По горизонтали:

4. Центр штата в Мексике.
7. Композитор, дирижер, народный артист СССР.
8. Приток Камы.
10. Представительница основного населения автономной советской республики.
12. Столица Республики Шри-Ланка.
14. Правильный многогранник.
16. Северное созвездие.
19. Прием извлечения звука на смычковом инструменте.
20.

Монолитная копия типографского набора.
22. Аспирант высшего военно-учебного заведения.
24. Басня И. А. Крылова.
26. Группа древнегреческих племен.
28. Польский живописец XIX века.
29. Река в Великобритании.
30. Дерево семейства пальм.
31. Продолжение срона действия договора.

По вертикали:

1. Художник-передвижник.
2. Птица отряда буревестников.
3. Остров в Вест-Индии.
5. Невысокое плоскогорье.
6. Охотничья собака.
9. Измерительный инструмент.
11. Видоизменение, преобразование.
13. Областной центр Белоруссии.
15. Молодогвар-

деец.
17. Электронная лампа.
18. Всесоюзный пионерлагерь.
21. Избирательный листок.
22. Киргизский писатель, лауреат Ленинской премии.
23. Город в Краснодарском крае.
25. Герой древнегреческой мифологии.
27. Химический элемент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ В № 18

По горизонтали:

1. «Степь». 6. Махачкала.
9. Уссури. 11. Сигнал. 13. Шапито. 14. Литера. 16. «Гаянэ». 20. Скафандр. 21. Лавренев. 22. Омуть. 23. Ортоклаз. 25. Водяника. 27. Аорта. 30. Окуляр. 32. Петров. 33. Ласкер. 34. Егоров. 35. Контрабас. 36. Рампа.

По вертикали:

2. «Травята». 3. Пакистан.
4. Карузо. 5. Глагол. 7. Истина. 8. Мастер. 11. Галактика. 12. Хренников. 15. Оскол. 16. «Гроза». 17. Ягуар. 18. Эльба. 19. Овраг. 24. Калган. 26. Астров. 28. Оперетта. 29. Телетайп. 31. Ректор. 32. Пронат.



тов. А. Оганесян из Кировакана, сохраняя в своих скульптурах дух армянской архаики, создает образы удивительные по композиции и пластическому строю. Рижане Т. Дексте и Б. Зандерсоне, напротив, работают в той же струе, что и профессиональные скульпторы, — их произведения могут быть установлены в парках или в современном интерьере. А вот художник из Чагоды Г. Попов пытается сочетать особенности самодельного искусства и классической живописи. В его холстах — залитые солнцем луга, светящиеся вечерними огнями ряды деревенских заснеженных улиц, несущиеся вдоль этих улиц конные упряжки, спокойно, торжественно копящие сено люди. Широкая панорама открывается глазу, но в этом обобщении не пропадают и подробности: отдельные деревья, стога сена, остановившиеся на дороге люди. Эти подробности дают ощущение интимности, прочувствованности изображаемого, живописной и душевной свободы; сопоставления же светлых и темных, холодных и теплых, глухих и звонких тонов насыщают полотно Попова внутренней динамикой — «оркестровкой».

В непрерывных поисках рождаются новые формы, нащупываются новые пути развития художественной самодельности. И, может быть, одним из самых ярких проявлений этого является мемориальный ансамбль в Аблинге, маленькой литовской деревушке, сожженной фашистами на второй день Великой Отечественной войны. Как хищные птицы, налетели гитлеровцы на деревню, еще не успевшую познать, что несет с собой эта война, — Аблинга праздновала свадьбу. Свист пуль и треск пулеметов заглушили пение деревенской скрипки, из всей деревни в живых осталась только пятимесячная девочка.

Отгремели бои. Опять заколосились поля, зацвели деревья. Бетонной пирамиды, поставленной над братской могилой, стало казаться недостаточно: трагедия Аблинги требовала всенародной памяти. И в 1972 году по инициативе клайпедского мастера В. Майораса на месте пепелища собрались резчики. Сыновья и внуки тех крестьян, которые долгими зимними вечерами резали деревянную ритуальную скульптуру (теперь она хранится в музеях). Хотя скульптура эта считалась рели-

В. ЗОРИН. ТИХАЯ БУХТА.

В. СЕМЕНОВ. ЗЕМЛЯ В ЦВЕТУ.



гиозной, она была далека от церковных канонов — вышедший из рук мастеров Христос оказывался похожим на усталого, годами недоедавшего мужика, богородица — на крестьянку, плакавшую над измученным, забитым до смерти сыном.

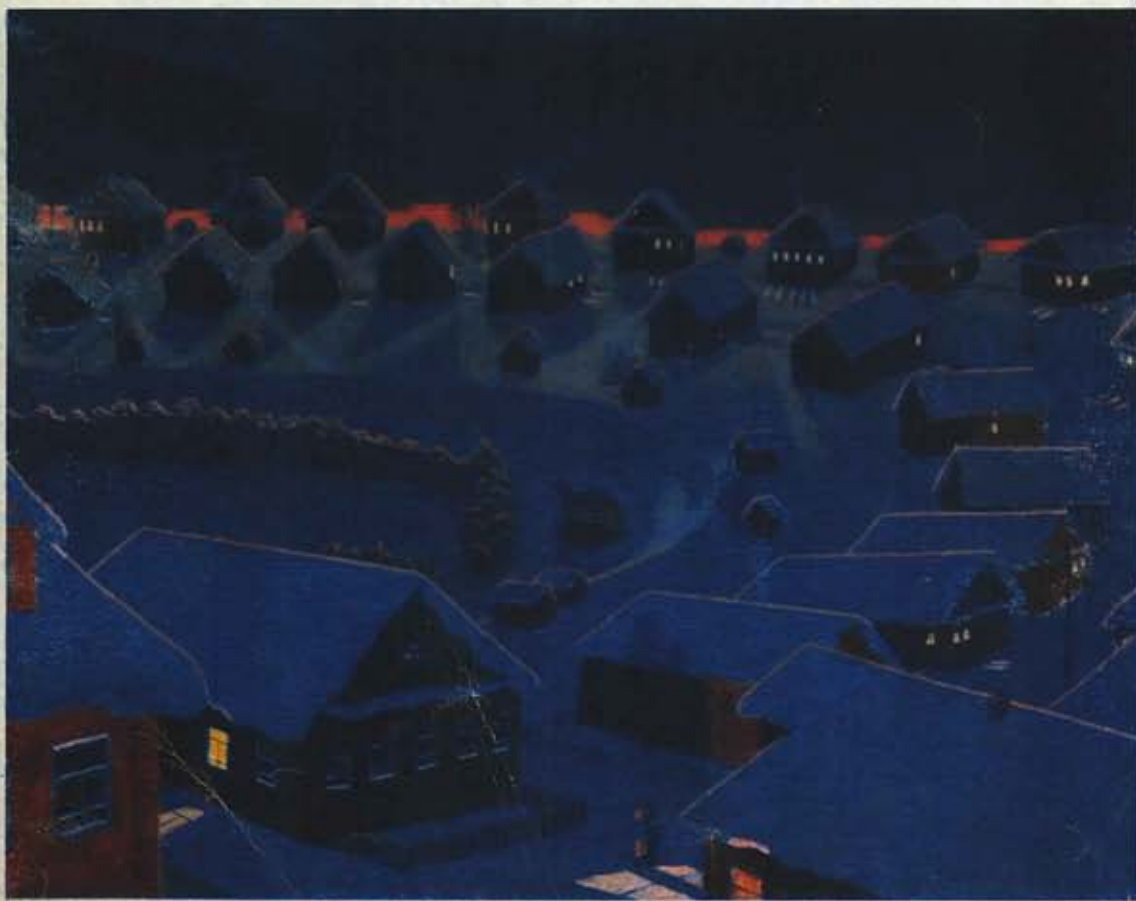
В нынешней жизни эта скульптура потеряла смысл, и золотые руки мастеров не находили применения (лишь некоторые из них нашли себя, занявшись бытовой пластикой — мелкой деревянной резьбой, напоминавшей русскую богородицкую). Идея предложить резчикам создать Аблингский мемориал была неожиданной и смелой. Художников познакомили лишь с общей идеей памятника, и большинство из них работало без рисунков и эскизов, прислушиваясь лишь к собственному представлению о прекрасном, присматриваясь к форме доставшегося ему ствола — к его неровностям, дуплам, наростам. «На дерево надо смотреть подольше, оно само подскажет, что с ним делать», — сказал один из мастеров, принимавших участие в этой работе.

Сейчас на холме Жвянгиляй, где была когда-то Аблинга, возвышается несколько десятков пяти- и восьмиметровых дубовых памятников. Каждый посвящен одному из погибших, взятые же вместе, они образуют удивительный, исполненный высокого гуманистического пафоса ансамбль. Убедившись в успехе замысла, резчики исполнили еще несколько деревянных скульптур для промышленного города Шяуляй, опять-таки вырезав их из цельных дубовых стволов. Мастер Л. Тарабилда украсил колхоз имени И. Билюнаса, воссоздав в дереве героев произведений этого революционного писателя. А сейчас Общество народного искусства Литвы планирует привлечь народных мастеров и оформлению детских садов и домов культуры.

...В Аблинге, не переставая, идут машинки. Люди едут туда из разных республик, чтобы воочию увидеть, ощутить красоту народной души, воплощенную в этом удивительном ансамбле. Памятник погибшим литовцам одинаково волнует и русских, и азербайджанцев, и казахов, и молдаван. Глядя на непрерывный поток поднимающихся на зеленый холм людей, я вспомнила о другом, таком же многонациональном потоке, который устремился на Всесоюзную выставку самодельного искусства...

Когда размышляешь над этим, становится ясно, что организация Всесоюзного фестиваля самодельного творчества трудящихся определена ходом всей жизни нашего общества, порождена самой действительностью. И эта же действительность подсказывает, что сейчас нам надо собрать опыт всех республик, обобщить его, подумать над ним. Движение жизни неостановимо, но когда мы говорим «фестиваль на марше», то подчас забываем о том, что путь его не окончится у ленточки финиша. Сейчас мы осмысливаем то, с чем подошли к сегодняшнему дню. Впереди — день завтрашний, для которого фестиваль (не кампания, а часть постоянной работы по подъему культурного уровня народа) послужит исходным зерном развития. Того развития, при котором переполняющее народную душу богатство выплескивается звонким песенным ладом и сбереженным в веках красота делается достоянием сегодняшней жизни: «Разбейвай, душа, немоту свою, открывай, душа, красоту свою, выходи, душа, не жалея себя, людям всем, душа, перелей себя».

Г. ПОПОВ. ГУСТЫЕ СУМЕРКИ.



Цена номера 20 коп.

Индекс 70820